Интервью с Нетто

Интервью с Нетто-1

А. Сегодня, 18 апреля 2005 года, Я, Козлова Алена Геннадьевна, беседую с Львом Александровичем Нетто. Город Москва.

В. - Лев Александрович, вот Вы-то помните, а я ничего не знаю, вот восстание само по себе, как Вы о нем узнали, или Вы его готовили, или Вы стали его участником как-то стихийно, случайно, или у Вас была какая-то роль, или место заранее запланированное в этом восстании, как Вы вошли в него? Знали ли Вы что-то о нем заранее?

О. – Ну вот этот вопрос не столь однозначный, не столь прямой, как казалось бы. Прежде всего потому, что это восстание, это событие назвали восстанием уже потом, после этих событий. А это было несколько по-другому. Это как раз уже после смерти Сталина, когда обстановка вопреки тому, что ждали, что будет облегчение, может быть, даже и свобода, потому что умер главный идеолог, главный человек, который этот террор олицетворял, но оказалось, что ситуация сложилась именно совсем по-другому.

В. – Ничего этого не произошло?

О. – Началось наоборот – более жестокий режим, более жестокое обращение, включая самый настоящий террор, то есть убийства на каждом шагу. Во время транспортировки на работу, с работы, в рабочих зонах и даже в жилых зонах. По самым необоснованным мотивам, просто так, солдаты стреляли и убивали группы, или даже так, поодиночке, и за это никаких наказаний не было. А это было ясно, что это делается совершенно специально, и может быть, это не столько какая-то провокация, чтобы она вызвала какое-то всеобщее негодование или возмущение, которое может вылиться элементарно в какое-то восстание, а просто это органы, насколько нам стало известно, они начали кадровую перестройку у себя. Решили доказать, что они нужны власти, что они делают очень нужное важное дело, обеспечивая безопасность власти. Им нужно было показать, что они охраняют опасных людей, врагов народа, которые замышляют различные побеги, восстания, и всё, что угодно. И вот это всячески поощрялось. Кто это воспринимал, как-то реагировал на это, те солдаты получали, например, отпуск домой на определенный срок, так, это было такое самое высокое для них поощрение. И поэтому там у нас в Норильске, так как связь у нас была уже достаточно четкая к тому времени, знали, что это не какой-то один лагерь, что это не зависит от какого-то начальника какого-то лагпункта, а это была какая-то общая статья, или общая тактика. Вот такая позиция. Конечно, это вызывало очень напряженное состояние, и было какое-то даже отчаянное состояние, тем более, что у нас была подпольная наша организация, в которой мы периодически общались, как-то обсуждали обстановку, перспективу, что предстоит. Но были, конечно, и такие настроения, конечно, их мало было, что нужно готовиться действительно к какому-то восстанию, конечно, нужно браться за оружие, освобождать, выйти на волю и противостоять как-то этому насилию и террору. Это были конечно одиночки, которые не были в этом вопросе сплочены, и не было какой-то единой цели. А вот общее такое состояние, цель, была категорично ясна и … никаких вооруженных восстаний быть не может. То есть уже до этого эти периоды – и военные, и послевоенные, подтвердили, что власть наша безжалостна, и она малейшие такие проявления уничтожает в корне, и все окружающее уничтожает, если где-то что-то возникало. И среди руководства нашей подпольной организации были люди, которые могли подтвердить конкретно, и говорили, что ничего не может быть, потому что мы находимся на отшибе, находимся на острове, материк далеко, и если даже мы и выйдем, как говорится, за проволоку, разоружим охрану, и город Норильск окажется свободной зоной в этом смысле, то никуда мы дальше не уйдем. Впереди тысячи километров тайги, леса, тундры. А авиация перевернет здесь всё вверх ногами. И погибнут, естественно, и те, кто в лагере там, десятки тысяч людей, все вольнонаемные, дети, то есть всё, что есть живое, будет уничтожено.

В. – Лев, Александрович, а вот эта вот перспектива, это как-то обсуждалось руководством, штабом восстания, или …

О. – Нет, вот потому я об этом говорю, потому что опять по той же цепочке, по которой мы знали друг друга, и когда мы собирались, ну это не было какое-то там заседание, собирались там три, четыре, пять человек, больше всего конечно в рабочей зоне, проще было собираться, и вот обсуждение ситуации, мнений, всё это происходило. А никакой такой подготовки не было, наоборот, готовились к тому, чтобы противостоять каким-то провокациям. Потому что провокаций больше всего боялись и ожидали, что в зону могут бросить какую-то большую группу уголовников, которые будут вооружены всякими там ножами, финками, и которые могут устроить резню, вызвать какой-то там всплеск негодования, с тем что люди действительно, значит, возмущенные, и выгоняли их, скажем, из лагеря, и поножовщина там начнется, и тогда можно будет применить совершенно обоснованно оружие. Поэтому еще даже и до восстания у нас была постановка, что нам надо иметь какое-то в руках оружие, холодное, естественно, с тем, чтобы противостоять вот такому повороту событий. И поэтому, так как я работал в ремонтно-механической мастерской, то я тоже этими вопросами как раз и занимался.

В. – Оружием?

О. – Да, мы готовили финки, ножи. Ну, как это делалось - я работал как раз на токарном станке в токарном цехе. Меня, значит, познакомили с человеком из кузницы, который делал заготовки соответствующие из необходимого металла, я это получал и делал, затачивал эти финки и ножи. Это можно было выполнять элементарно. Затачивая резцы, я тут же в мгновение ока мог выполнять и такую функцию. Конечно, были в нашей группе и ребята, которые сами не точили, но были, как говорится, смотрели, как обстановка, если кто-то мог подойти, скажем, какой-нибудь надзиратель, обычно даже в процессе обхода, всё равно подавался какой-то сигнал об этом, тревоги, что нужно прекратить. Всё это элементарно делалось, и вот сколько мы там этим занимались, никаких не было ни провалов, ничего, всё было очень четко, надежно.

В. – А куда Вы все это прятали?

О. – Да, потом было нужно оформить рукоятки. У меня был, значит, близкий такой человек, Смирнов, пожилой такой человек, он работал слесарем, он делал слесарные работы. Когда это оружие холодное было уже готово, я просто сдавал его в инструментальную мастерскую. А в инструментальной мастерской как раз работал вот этот вот мой, с кем я держал связь, Смирнов Петр Тимофеевич. А дальше куда оно шло – это было уже не мое дело, давал он его, и передавал, я конечно понимал, что эта часть оружия прячется где-то в производственной зоне, а часть переносится в жилую зону, потому что неизвестно, где, кому оно может понадобиться. И это было достаточно приличное количество такого оружия заготовлено. То есть мы как бы готовились, как будто чувствовали, что нам нужно быть готовыми к такой ситуации. А как такового, что мы сами как-то обсуждали, чтобы как-то организованно, как-то целенаправленно, чтобы как, например, изучить наиболее слабые места в охране, вышки, где там у них казармы находятся, чтобы на самом деле была такая вот подготовка – этого ничего абсолютно не было. Поэтому никакой подготовки к восстанию как таковой не было.

В. – Но Вы этого не знали или даже вот у руководства не было таких планов?

О. – Нет, нет, это абсолютно правильно, потому что я, так же как и Смирнов, это человек, который и возглавлял нашу подпольную организацию, а я около него был, рядом был всё время, у меня даже обязанность была, это было уже потом, всегда быть с ним рядом и я даже не имел права где-нибудь, как говорится, высовываться, и светиться, как говорилось. У него есть свои обязанности, и я должен его понять – всё! Всякие другие вопросы решает другой человек, другие люди. Всё это было достаточно строго, поэтому не было никаких таких случаев, чтобы где-то кто-то проваливался, кто-то за эту деятельность пострадал. И был посажен в карцер, в шизо, и даже те осведомители, которые были в лагере, а их было очень много, как потом выяснилось, они это всё не

видели и не чувствовали, конечно. Настолько всё это было как-то надежно, подбирались люди, друг друга находили.

В. – А Вы знали, что Ваше выступление неминуемо или Вы считали, что можете выступить, только если будет провокация какая-то?

О. – Нет, во-первых, вы правильно сказали, что если будет провокация, значит, если дойдет до того, что надо будет идти на вышки , то надо будет идти не с голыми руками. То есть вы правильно поставили вопрос, что такая мысль тоже была, что вот исключить внутреннюю провокацию, значит, не дать себя на избиение такое со стороны уголовников, и второе, что если вот такая какая-то крайность придет, когда уже безвыходное положение, то чтобы как-то минимально быть подготовленными к этому. Это было. А чтобы вот какую-то такую тактику, чтобы продумано, этого не было. Это уже потом я уже пообщался с людьми, с теми же западными украинцами, с литовцами, и все они подтверждали всегда, что нет, что это только провокация со стороны охраны или администрации, которая вызывала на это.

В. – То есть Вы думаете, что эти расстрелы, они и были частью провокации?

О. – Да, нагнетание такой обстановки, нагнетание безысходности такой, чтобы люди уже в этом состоянии, вот если вспышку дать небольшую, то есть наполнение (?) этих самых уголовников, или что стало последней каплей, и тогда они…

В. – А Вы уже знали, что были восстания в Воркуте, например?

О. – Мы знали, мы много знали восстаний, были и в Воркуте, мы знали, что были восстания и в Караганде.

В. – Это до 53-го года?

О. – Да. Все это как-то обычно узнавалось. Потому что приходили различные этапы из различных мест, и все это было известно, поэтому вот это и послужило тому, что это и убедило наше руководство, и тех, кто руководил организацией, что нужен другой почерк, другой почерк должен быть, для того чтобы освободить свое отечество от вот этого террора и насилия, которые творили большевики, коммунисты. И вот уже новый год, уже март месяц прошел, и все это хуже и хуже. И начало восстания практически попадает на 25 мая 1953 года. И так получилось, что в этот день я работал на …строе в мастерской у себя в ночной смене. И это же было ночное время, а ночное – это только так называется – ночное время, а на самом деле в Норильске май месяц – это круглосуточно светло, светит солнце, и как таковой ночи, в нашем понимании, нет. Просто ночная смена. Как я шутил, нормально работаем … никаких команд таких не было. Загудели гудки – в котельных, и рядом в зоне. А так располагалась зона, что метров через 300 была пятая зона, а за пятой зоной – еще женская зона, то есть три зоны располагались рядом, и даже зрительно можно было все это видеть и слышать все это. Я конечно выскочил, что это за гудки, непонятно было, в чем дело, я сразу бросился в инструменталку к Смирнову, говорю: как, что случилось, что делать. Его нет на месте. Я поспешил на улицу и увидел, что Смирнов идет с группой других заключенных. Спрашиваю: «Что случилось?» Он говорит: «В пятой зоне очередная провокация, два или три человека убиты, четверо раненых, и они обратились к нам, что все, хватит, терпение лопнуло, последняя капля переполнила эту чашу терпения, всё, кончаем работать. Работать больше не будем. Все, объявляем забастовку». То есть самая настоящая забастовка. И тут уже общались зоны, там азбукой Морзе, флажки, но это уже всё, специалисты находились моментально, где что нужно. Появились лозунги – «Свобода или смерть». Появились в пятой зоне, и у нас появились лозунги. А это как бы означает что – что или мы хотим, чтобы нас освободили, или смерть, и что уже в таком состоянии нечеловеческом дальше мы просто не хотим работать и жить. Лучше убейте нас, и дело с концом. Но это ни в коем случае – свобода или сметь – действительно вело к восстанию. Погибнем в восстании. Эти лозунги были именно такого характера. Уже невозможно жить в такой обстановке, даже существовать, поэтому, значит, или убивайте нас, или давайте комиссию и разбирайте, почему это так происходит, почему в нас, как в какую-то дичь, стреляют каждый день, и всё.

В. – А как-то эти требования были изложены, требования к комиссии?

О. – Сразу, значит, да, в первый день было такое, что мы не уходим с производственной зоны в жилую зону, остаемся здесь. И все, кто были ближе к пятой зоне, здание уже было построено, уже было под крышей, не было там внутренней особой отделки, так что все остаемся в этом здании. И все со всех других объектов там сосредоточились, так что тысячи полторы народу там собралось. И естественно, тут уже появились флаги, потому что там тоже были различные мастерские, складские помещения, и всё, вывесили черные флаги. Черные флаги – это как бы протест против того насилия, террора, который происходил. Естественно, лагерное начальство тоже сразу, во-первых, покинуло зону, ушла вся администрация, потом, значит, начали как бы психологическое такое воздействие. Почему, как, да что, мы все рассмотрим, чем вы возбуждены. Вели переговоры. Но это было видно, что это те же самые руководители и офицеры, которые покрывали те же самые издевательства и внутри зоны, и укрывали тех солдат, которые убивали, и поэтому мы сказали: «Нет, мы теперь с вами уже, наслушались много ваших обещаний, сладких слов, мы хотим, чтобы была московская комиссия».

Конец файла Нетто-1.

Файл Нетто-2

В. – А кто вел эти переговоры, кто донес эти требования до администрации?

О. – Значит, так. Во-первых, это была производственная зона. В каждой зоне был непосредственно человек, скажем, у нас осуществлял связь Смирнов, он тоже был в этой зоне, а он осуществлял связь непосредственно и с украинцами, и с другими центрами подпольными, и сначала было решено, что сначала надо выяснить ситуацию – как, что. И только после того, как в течение четырех-пяти дней, что мы там были в этой производственной зоне, стало ясно, что необходимо соединиться с основной, чтобы быть вместе, чтобы быть более настойчивыми, более плодотворно как бы объединить свои силы, а то мы были как-то разбросаны, чтобы уйти в жилые зоны. Решение такое было принято, и ушли в жилую зону.

В. – Никто не препятствовал этому?

О. – Нет, нет. Администрация старалась наоборот, чтобы это было так тихо, спокойно, без всяких каких-то нажимов, без всяких обвинений, старались наоборот спокойно свести это на мирные рельсы. Поэтому когда было принято решение, что мы идем в зону, все это было обычным путем, как всегда, все это просчитывалось, строится колонна, и уводят. Здесь в зоне были рабочие из пятого отделения и из четвертого. Каждый, естественно, пошел в свою жилую зону. В жилой зоне к этому времени уже тоже все было известно, потому что связь была достаточно такой надежной, притом надо сказать, что связь уже была, так как в мои функции, как члена этой организации, входило держать связь с кем-то, скажем, с волей, как это называлось, так что было понятно, я знал, что эта связь ведется, во-первых, через вольнонаемных, которые работали с нами тоже вместе, в производственной зоне, скажем, у нас в мастерской тоже работали вольнонаемные, слесаря, токаря, через которых уже и элементарная почта передавалась. Ну, естественно, если нужно было передать какую-то связь в какую-то другую зону, то тоже все это осуществлялось. Ну и конечно, я всегда понимал, даже со слов этого Смирнова, что есть определенная связь даже и через офицерский состав. То есть что мы, как говорится, не одни, а у нас очень много друзей, которые нас понимают, которые, как говорится, сочувствуют нам, и даже в критический момент могут быть заодно. Если даже вот, говоря об этом, невольно вспоминаешь такие моменты, как тот же Смирнов всегда говорил, что если уже будет нужно, скажем, допекут до такого состояния, что нужно будет идти на проволоку, то у нас будет много друзей, мы будем идти на проволоку не только с одной стороны, а у нас есть друзья и с той стороны проволоки, и тот, кто в погонах, тоже нам скажет, подскажет, как нам действовать. Какую тактику нам

применять. Так что … это не то, что там какая-то в лагере банда, которая готова пойти на проволоку, как это часто очень бывало и раньше, а это была организованная достаточно сила, которая держала между собой связь, было взаимопонимание полнейшее, она помогала нам объединиться, …цели для этого не было. Вот это такой важный момент в этом Норильском восстании, который, может быть, забегая далеко вперед, можно сказать, что уже через многие годы появились такие работы, что «загадка Норильского восстания», что как это могло быть, что более 20 тысяч человек вдруг объединились и очень дружно объявили забастовку, не пошли на провокацию, как это вообще может быть в тех условиях, когда был жестокий режим, внутри там были доносы, слежка, и все, что угодно. И поэтому еще все эти исследования - они только поставили большой вопрос.

В. – А Вы как объясняете это?

О. – Ну, это я потом объяснял, я уже здесь и в Москве объяснял, что это потому, что была подпольная организация, все было организовано, вот. И поэтому все это было связано по цепочке, достаточно было много людей, которые были костяком всего этого лагерного движения, которые обеспечивали направление хода событий.

В. – Лев Александрович, а когда это … началось, тогда это не называли восстанием, но это уже началось сопротивление…

О. – Да, безусловно, забастовка – это самое настоящее сопротивление, активность.

В. – Когда началось сопротивление, Вы думали о том, что возврат к прежнему уже вряд ли будет, и что возможен самый кровавый исход? Вы думали об этом?

О. - Думали.

В. – Вот лично Вы думали об этом? Вам не было страшно?

О. – Знаете, такой вопрос часто возникает сейчас, страшно – не страшно, понимаете, какой вопрос, страшно не было, потому что такие, как я, или, скажем, тот круг, с которыми я был тесно связан – это или офицеры, или солдаты, которые прошли через горнило Отечественной войны. И которые уже смерти в глаза смотрели не один раз. И поэтому, вспоминая и свои фронтовые годы, как … я эту смерть видел перед собой, за доли секунды, за минуты и так далее. Поэтому не было страха и здесь, вот в данном случае, в Норильске, не было страшно. Ну нужно будет – надо будет идти, как говорится, до конца, на смерть, если нужно будет. Но нет, была такая уверенность, что у нас другой путь, у нас другая цель – добиваться освобождения своего Отечества. Поэтому, значит, уже это – как крайняя мера, которая не пугала и не страшила.

В. – Но вот Вы говорите – добиваться освобождения своего отечества. То есть Вы думали, что вот это сопротивление в Норильске – оно как-то повлияет на что? До такой степени будет важным и большим, что оно повлияет, даст какой-то ход событиям по стране?

О. – Во-первых, тут нужно так сказать. Что когда только я вступал в эту подпольную организацию, которая называлась, а я из нее не выходил, коммунистическая партия России, это был май 49-го года. И тогда меня принимал Смирнов непосредственно, и тогда он со мной говорил, что эта партийная организация подпольная существует и по ту сторону проволоки. И после этого я не только от него, но и от других слышал, как говорили, передавали из уст в уста, естественно, один на один, что все это было связано с Дальним Востоком, больше всех там, вот Дальний Восток, Хабаровск, вот в этом районе, были и съезды подпольные этой организации, что это достаточно распространенная организация, которая ведет свою подпольную работу вот именно чтобы готовить, противодействовать тому режиму, той власти, которая сейчас существует.

В. – Вы надеялись, что все будет по-другому?

О. – Да, и поэтому был какой-то такой настрой, и всё. И потом, когда мы приехали уже из Красноярска в Норильск, я как-то сам внутренне прочувствовал, что очень быстро там опять установились эти связи. С внешним миром установились. Ведь еще в Красноярске мы там писали эти письма, распространяли, я их переписывал, в Норильске тоже все это быстро образовалось, и все это стало делаться. И другие факты показывают,

что есть какая-то связь, естественно, подпольная, глубоко очень законспирированная, но она есть, и поэтому самое главное, что нужно, как говорится, не лезть на верную смерть, каковым является восстание, а именно время должно взять свое. Что не может эта власть бесконечно издеваться над народом, нужно идти к народу со словом разъяснения, призывами и противодействовать этой власти. А для этого нужно, вот скажем, то, что мы делали через письма, а так - для этого нужно выходить на свободу, поэтому физически были попытки побега, побега, чтобы выйти и эту работу проводить уже с другой стороны проволоки. Ну естественно, что большинство этих солдат и офицеров – это были как раз люди, которые не держали оружие против своих, они ничего не провинились, не были завербованы, как их назвали там шпионами, и так далее.

В. – То есть бывших солдат и офицеров, которые стали заключенными?

О. – Да-да-да-да. Поэтому явно все это было спровоцировано, все это было умышленно сделано, все признали свою вину насильно, под силой пыток и так далее. И поэтому все думали, что уж сейчас, после смерти Сталина, что изменится отношение даже в этом плане. И что все-таки нужно выходить на свободу, и тогда продолжать эту работу. И всегда подчеркивалось, так это значилось и в программе партии, и в уставе, и в программе действий, что никаких ни вооруженных восстаний, ни революций, никаких переворотов, все это должно делаться на основании закона, а главным оружием, причем более сильным оружием, чем атомная или водородная бомба, которая как раз в 49-ом году уже появилась в стране – это слово, разъяснительное слово. Которого, кстати, больше всего и боялась власть. Она всё это скрывала, всё это затушевывала, и об этой деятельности, об этой борьбе против нее она умалчивала. Она могла говорить сколько угодно о каком-то бандитизме, разбое и всё другое, а об этой деятельности, как правило, по сей день история замалчивает, и она, власть, понимает, что как раз слово – это самое сильное оружие, которому противостоять невозможно.

В. – Итак, Вы выдвинули главное требование, что вы хотите комиссию из Москвы?

О. - Да, комиссию из Москвы. И когда мы воссоединились уже в жилой зоне, это уже наверно числа 10-го июня месяца, или это уже недели через две после начала восстания, то такая комиссия появилась. Наша зона была четвертая, я это хорошо помню по своей зоне, я обычно всегда это рассказываю о том, что я конкретно видел своими глазами. В один из прекрасных дней, трудно мне конечно сейчас вспомнить, какое это было время дня, но было светло, солнце светило, то ли это был день, или это было ночное время, но скорее всего это был день, когда вся основная масса, то есть люди бодрствовали. Солнечный хороший день, около вахты, но все же внутри зоны установили такой длинный стол, метров пять или шесть длиной, и с двух сторон поставили стулья, и предупредили, что вот вы, значит, с одной стороны давайте своих представителей, кто будет разговаривать с комиссией, и вот, значит, члены комиссии. А мы, все остальные, вышли, конечно, смотрели, ну там метров 20-30 от этих столов, но уже у себя в зоне, стояли и наблюдали. Ну во-первых, туда пошли люди, которые уже за это время, за эти две недели был организован забастовочный комитет, и во всех зонах это было однотипно – забастовочный комитет. Не было никакого там штаба восстания, или что-то такое подобное, ни в одной зоне не было. Забастовочные комитеты. В них вошли люди, которые действительно такие решительные, стойкие люди.

В. – А Смирнов вошел туда?

О. – Нет, Смирнов не входил туда. От нашей подпольной организации туда входил Недоросков. Владимир Недоросков. Также были от украинцев, тоже я знаю, один человек там был, и от литовцев, и кроме того, были еще, особенно от украинцев, такие ребята, ну украинцев было много в лагере, они были такие сплоченные, еще, как говорится, с воли, многие были такие, которые были знакомы еще со своего района, с области. По России, знаете, это собиралось так, с миру по нитке собирались, а Украина и тем более Литва – они же территория небольшая, значит, они уже как бы в лагерь-то прибыли уже с понятием определенной сплоченности. И поэтому в лагере, когда коснулось организации

восстания, они были уже более активными. Это были уже те, которые были самые отчаянные, так можно сказать. Я их потом называл, что это были факелы, которые, они не искру бросили, а они вызовут искру, которая появилась после как протест против такого террора. Они эту искру разносили, они ее призывали, поясняли, то есть тем самым они объединяли людей вот к этому, чтобы было понятно, что объявили забастовку, почему объявили забастовку. Они разъясняли все эти действия, каждодневные действия, как с питанием, как в эти зоны вернуться.

В. – А как, кстати, было с питанием?

О. – С питанием – оно поступало, потому что начальство такой вопрос не поставило.

В. – Но вас кормили?

О. – Администрация в зону не входила. Были уже свои люди, которые, видимо, этим вопросом занимались, чтобы был порядок, потому что если из жилой зоны поступила соответствующая порция питания, то чтобы все это было использовано, как положено, чтобы не было ни разбоя, ни хищения, ничего. То есть внутри была организована четкая своя деятельность.

В. – А охраны внутри зоны не было?

О. – Охрана у нас была своя, организовывалась каждый раз в каждой зоне, но она имела несколько другую цель. Эта цель в основном была такая, можно сказать, широкая. Во-первых, наблюдение, что делается за зоной, чтобы быть каким-то образом готовыми, и кроме того, внутренняя, как преграждение, чтобы не бежали из зоны. Потому что это тоже не входило в наши интересы, потому что даже те доносители не могли передавать то, что делается в зоне. Рассказывать о зоне. Многие, конечно, боялись, что если что-то будет в зоне, значит, они понесут какое-то наказание, тоже чтобы убегать. Все это в целом, может потянуть такую общую цепочку тех слабонервных или не очень стойких, которые могли сдаться (?)

В. – Стали бы штрейхбрейхерами?

О. – Да, вроде как бы штрейхбрейхеры, могли уходить, то есть какую-то слабость определенную забастовке может это причинить.

В. – То есть каким-то образом это пресекалось?

О. – Нет, и потом вот сразу, если говорить о внутренней охране, то это уже не в производственной зоне, а в жилой зоне, когда мы уже туда пришли, были попытки каких-то провокаций. Таких, например. Был какой-то поджог, что-то горело. Еще какой-то побег там хотят организовать. Что-то там подорвать, что-то - испортить трансформатор, то есть это опять какие-то там провокационные действия, за которыми охрана должна была следить. Поэтому за этим надо было следить и надо было быть очень бдительными. Поэтому надо было внутри зоны держать, как это сейчас называется, под контролем своим состояние, так же как и за внешним, за перемещением, скажем, военных или как что там делается. Поэтому вот эти переговорщики, у нас было за столом шесть человек, которые вели эти переговоры, тут были и русские, и украинцы, и литовцы, белорусы, по-моему, там и из евреев кто-то был, армянин там был. Практически это был представлен такой … потому что держались там все такими национальными группами. Помимо подпольной организации, а уже внешне так уже общались и держались такими национальными группами, что также обеспечивало достаточную сплоченность. И вот я хорошо помню, как … полковник Кузнецов, который очень громко начал с того, что вот, мол, «меня лично послал Лаврентий Павлович Берия. Он очень удивлен, почему вы вдруг прекратили работу. Ведь ваша работа так нужна стране. Норильский комбинат обеспечивает такие-то, такие-то заказы. Во время войны Норильский комбинат обеспечил добычу никеля во имя победы. И сейчас вы это продолжаете. Город строится. И вдруг вы отказались. В чем дело, почему? И я пришел сюда, чтобы выяснить, с тем, чтобы это устранить, ваше недовольство». И вот это запечатлелось у меня, это было очень давно, но запечатлелось в памяти. Естественно, такое начало было каким-то воодушевляющим, можно так сказать,

что те, которые там стояли, можно сказать, несколько тысяч нас там стояло, слушали все это дело. Потому что это звучало ободряюще, выходит, мы не зря все это сделали, и вот мы правы, так. Кроме того, мы готовились, мы знали, что комиссия будет, нам говорили, что комиссия вызвана, поэтому мы готовились, и шла усиленная подготовка отработки требований. Такие требования к этой дате наши представители в письменном виде и передали этой комиссии. Во-первых, зачитали, естественно, потом передали этой комиссии московской.

В. – А какие были требования?

О. – Во-первых, требования были такие самые насущные, такие, самые человеческого такого понятия. Во-первых, снять номера. Потому что все эти годы все, кто там был, не имели ни имени, ни фамилии. У каждого на одежде был номер, и нас проверяли там каждый день вечером и утром по номерам. Снять номера. Перестать нас на ночь запирать там на замок. Снять с окон решетки. Сделать нормальный рабочий день. Естественно, прекратить такие вот жестокие меры. Наказать всех тех, кто допускал такое жестокое обращение, расстрелы. Разрешить свободно писать письма, а то у нас был такой порядок, что мы могли писать только два письма в год. И начать, естественно, пересмотр дела. Такие вопросы были близки если каждому, то никакого тут сомнения не было. Естественно, по всем этим вопросам … было принято, как бы в первый день комиссия в лице все того же помощника Берии одобрила – «это в наших силах, это в наших силах, это мы сделаем, а вот то, что пересмотр дела – это, значит, не в наших силах, но мы это, как только приедем в Москву, мы это доложим, это безусловно, будет принято заявление ваше, и все». Как мы потом узнали, такого типа решение было принято в каждом отделении, было такое вот представление комиссии, такое вот знакомство.

В. – В каждом отделении были одни и те же требования?

О. – Ну они может быть отличались чисто как текстовые, смысл ведь один был, потому что все одни и те же обиды были, одни и те же замечания, тем более ведь практика такая была, что в некоторых отделениях все время были этапы, все время по каким-то причинам менялись люди. У охраны там какие-то свои соображения были, может, чисто кадровые, может быть по специальностям, или еще что-то, но это было. Единственное, что не было перемещения с третьей зоны. А третья зона – это бывшая каторжанская зона, которая была каторжанской еще до организации горного лагеря, то есть до 48-го года, которая каторжанской была еще в 43-ем, 44-ом, 45-ом, которая в основном пополнялась, ну и из России, естественно, но в основном теми, кто в полиции работал с немцами, ну из Украины – это освободительное движение, украинское освободительное движение, оттуда. Ну и потом, ведь как получается, потом я и сам с этим столкнулся, что в основном это были не непосредственные такие активные борцы за свободу Украины, или что, там ОУН (?), ли беляковцы, их там много направлений было. Не сами те бойцы, те, видимо, в плен не попадали, с ними расправлялись, наверно, по-другому, а это были люди, которые кого-то прятали, что-то не сказали, люди, как бы сочувствующие. Или люди, у которых сыновья ушли в эту организацию, а братьев и сестер забрали. Ну то есть практически картина та же самая, как она была и в России в свое время, так же и там. Поэтому потом это всё как-то проявилось. И поэтому была такая надежда даже, что да, комиссия была еще в Норильске, уже она начала выполнять наши требования. Номера сняли, запирать не стали, решетки постепенно сняли, рабочий день уже стал нормальным, по-моему, часов десять.

В. – И после переговоров Вы вышли на работу, и жизнь пошла нормально?

О. – Да, но в противовес поставили условие: если вы выйдете на работу. Тут же наши представители, наш забастовочный комитет, сказал: да, завтра выходим на работу, нормально будем работать.

В. – То есть все вернулось абсолютно?

О. – Да, все вернулось на круги свои.

В. – И то же начальство, или оставалось ваше самоуправление?

О. – Нет, какое-то самоуправление еще оставалось. Ведь даже во время первой нашей волны этой самой забастовки, убежали целый ряд бригадиров. Убежали нарядчики. И начальники колонн. В основном они были из уголовного состава, во-первых, ну и конечно не все ушли, потому что не каждый имел за собой какой-то, как говорится, хвост, который не насолил никому. Он просто по … обязанности, и все. Так вот те не вернулись еще. Пока мы не вышли на работу, они не появлялись, потому что они понимали, что это еще не все закончено. Ну, а у нас в отделении был строжайший порядок, и я не помню, может, это из воспоминаний, то, что люди пишут, порядок стал еще более четкий, такой более последовательный, надежный, и в смысле питания, и в смысле одежды, работы, все было четко. И мы вышли на работу, и все пошло своим чередом, и мы чувствовали себя, я не знаю, как это выразиться, героями, что ли. Что вот так мы действительно добились этого, что вот это изменилось. Естественно, дальше будет лучше, вот комиссия поедет в Москву, доложит там непосредственно уже правительству, будет разбираться с делами, то есть уже реально перед нами свобода. То есть воодушевление было просто таки необычное, понимаете. Я хорошо помню, что уже даже когда и работали, то другое было отношение к работе, такое, и силы как-то у людей появились другие, понимаете. Какое-то желание. Хотя и до этого заключенные когда работали, строили Норильск, заводы, к работе относились самым добросовестнейшим образом. Не было туфты, хотя было такое понятие, что все эти лагеря держатся на трех китах – блат, лаг (?) и туфта. Так вот, туфта – она действительно была, когда нужно было выписать наряды, чтобы люди получили соответствующую пайку, там туфта была. Но туфта на качестве выполняемых работ, я категорически говорю, я и сам работал в мастерских, я это знаю, приходилось и строить иногда, долбить эту вечную мерзлоту, до тех пор, пока шурф не дойдет до скального грунта, тогда его заливали бетоном и тогда ставили там сваи. Так что этого отступления от такого качественного подхода, от технологического подхода, не было, потому что инженерный технологический состав был весь из заключенных, бригадиры, нормировщики – все заключенные, поэтому вот такое добросовестное отношение к работе было и всегда.

В. – Значит, было и сознание, что вы работаете на страну, а не на угнетающий вас режим?

О. – Ну, я так хочу сказать, ну не то чтобы такое сознание – для себя, ну вот такое сознание, что я как бы делаю на страну, как вы сказали, а просто я так считаю, что я привык так работать. И мои друзья – тоже, это все труженики, они привыкли работать. И поэтому даже став не людьми, даже потеряв имя и фамилию, они все равно продолжали трудиться. И они знали, что нужно работать, тогда будешь жить.

В. – А военнопленные вот в немецких лагерях, вот этот саботаж какой-то, порча какого-то имущества, это был саботаж, чтобы не работать на эту систему, на эту страну, на этих завоевателей. Вот Вы тоже ведь были в плену, и наверно понимаете это?

О. – Все понятно.

В. – А когда Вы попали в наш лагерь, и Вы работали точно так же, на такую угнетающую систему, все-таки Вам не казалось это одинаковым? Работа в фашистском плену и работа здесь? И здесь Вы работали на что? Для чего?

О. – Вопрос конечно очень интересный. Во-первых, я прошел плен немецкий и плен

В. – Советский?

О. – Я стараюсь избегать слова «советский». Плен здесь, у себя на родине, в своем отечестве. Так вот в своем отечестве было в 10 раз тяжелее, чем там.

В. – Почему?

О. – Почему – сознание того, что то, что я нахожусь у себя на родине, в своем отечестве, и являюсь не человеком, а каким-то отбросом человечества, над которым издеваются. И где-то рядом находятся мои, моя кровь и плоть, с которыми я не могу общаться, только два письма в год, и не больше, никаких свиданий, и вообще об этом

думать нечего. И вот это было очень-очень тяжело. Понимаете? Ну вот как-то у меня конкретно, лично, сложилось так, что я в это не верил, что это 25 лет. Когда мне еще только объявили, что это 25 лет, то это я считал, что это бред какой-то, какой-то спектакль, что как это может быть, как, за что, все. Но когда я увидел, что таких, как я, там тысячи, десятки тысяч, уже получается, что в Норильске было, что все это уже более серьезно. Но все равно была вера в то, что я выйду. Даже я могу такое сказать, ну не все может быть в это верили, в душе это было. Вот, скажем, мастер у нас был, он москвич, чуть-чуть старше меня, Алексей такой был, вот имя помню, а фамилия выскочила, хоть убей, он все время говорил: «Лев, забудь ты про Москву. Москву тебе не видать, как своих ушей». И я готов был разорвать его за такое настроение, за такое воодушевление. А я все время говорил; «Нет, я буду в Москве, Москва – это мой родной город, и Москва для меня – это, ну нет ничего дороже, чем Москва. И я буду в Москве». И вот такое противоречие, потому что понимаете, вот такое было состояние, когда тебе еще так говорили, а кругом ты видишь, что там действительно люди мрут, как мухи, понимаете. Это мое счастье, моя судьба, что я работал в помещении, в мастерских работал. Значит, я был обеспечен пайком стабильным, и мороз в 50 градусов меня не, ну не вредил моему здоровью. И я действительно пережил все это. А ведь большинство-то ведь осталось там навечно, в том же Норильске, как и в других лагерях.

В. – Но тем не менее отношение к работе было другое, чем в немецком плену?

О. – Отношение к работе – ну я за себя могу сказать, что как мне кажется, тот, кто всю жизнь работал, кто трудился, и кто любую свою работу умеет ценить, особенно вот как токарь, когда я что-то делаю, какую-то деталь вытачиваю, то я стараюсь, чтобы она действительно была точной, качественной, красивой, с соответствующими треугольничками, блестела чтобы. Это приятно, это становится нормой на всю жизнь. И какая-то внутренняя гордость от этого. Поэтому это делает человек, который это осознает. И поэтому если так посмотреть, то каждый что-то делает. Это он делает везде, скажем в искусстве, не боясь всего, он что-то творит, и он радуется своему конечному продукту, так можно сказать. И поэтому, если тебя заставили что-то делать, и ты все это делаешь, то что ты делаешь, свой труд и свою душу в это вложив, и портить – вот у меня это не получалось. Да, я слышал, что особенно когда кто-то там стуфтил, или что-то сделал, были такие, но это были отдельные случаи. А вот в немецком плену мне не приходилось работать на фабрике, на заводе. Я в плену работал на расчистке города Франкфурта-на-Майне, после бомбежек нужно было расчищать. Я работал на сельскохозяйственных работах, когда уже был в Эркфурте. То есть там не было такого конкретного дела.

В. – А вот если бы Вам пришлось работать на авиационном заводе с другими военнопленными, скажем, вытачивать те же детали, было бы какое-то внутреннее противоречие у Вас между красотой выполненной работы и порчей этих деталей?

О. – Я в это охотно верю, что это было. И может быть, если бы я там был, то я тоже мог такое что-то делать. Как вы говорили, что снаряды там были заполнены не тем, чем положено, в снарядах были записки, в этих болванках, например. Это было все реально, потому что Родина оставалась Родиной, тяга к Родине оставалась все время, и поэтому я не исключаю, что если бы я был на таких работах, качественных работах, а не на подсобных работах, то может быть и я вместе со своими друзьями, мы бы так тоже поступали. Поэтому я охотно верю, что это действительно было реально, и можно только тем, кто это делал, пожать руку.

В. – И все-таки все же в ГУЛАГе, вот в Норильске, например, и в других лагерях отношение работавших к работе было таким, что они работают на благо Родины?

О. – Да, безусловно.

В. – Несмотря на то, что она с ними так поступила?

О. – Да, несмотря на это. Потому что человек, который всегда работал … отношение к работе должно быть такое, может быть, со временем это утрачивалось. А тем более на Руси это было испокон веков, что русский мужик любил работать, и хорошо мог

делать это. Известный Левша – это образец человека. Ну и конечно, несмотря на то, что срок был большой, это 25 лет, что это чуть ли не вся жизнь, но в это не верилось, все-таки верилось, что все-таки выйдешь на волю. И поэтому выйдешь куда – опять на свою родину, и это где ты сейчас находишься…

В. – Ну вот когда вам Кузнецов говорил о той работе, важной работе, и хорошей работе, которую вы делаете, необходимой работе, это действительно вызвало какую-то гордость за свой труд?

О. – Безусловно. Было, было. И в тот момент, я даже скажу еще больше, что ведь все то, что там делалось, добывали там никель, ведь это все какими колоссальными жертвами все это делалось. Но вот когда вот это слышал, когда слышал такую благодарность за работу…

В. – Даже от помощника Берии?

О. – Да, да, морально это было – как кусок хлеба. Это было крайне приятно. Готовы были какие-то подвиги совершить, с тем, чтобы еще и дальше так делать это. Коль меня приняли за человека. Коль со мной разговаривают, как с человеком.

В. – А вот Вы потом были в Норильске, сейчас бываете, есть там такие места, например, про которые Вы говорите: «Вот это я строил. Вот здесь я работал»?

О. – Да, да.

В. – И какие у Вас чувства возникают при виде этого?

О. – Ну вот я уже был в 2003-ем году в Норильске, я … на гастроли, я уже знал, где какие там дома, я мог на этой улице точно не знать, какой дом, на этой улице я копал котлован, который мы заливали бетоном. Был еще такой момент, я помню, там все это снималось на пленку, когда я там был, и я подошел к этому дому, похлопал его. Аппарат этого конечно не слышал, а я с этим домом так тихо разговаривал6 «Дорогой мой дом, а ты же ведь и не знаешь, что я для тебя шурфы копал. И делали мы это добросовестно, до скалы, и поэтому ты до сих пор стоишь».

В. – Для Вас эти дома дороги?

О. – Очень дороги. Ну вот это, понимаете, это какая-то психология, как что, ну понимаете, родина есть родина, отечество, независимо от того, кто там сейчас у власти, как у власти, так. А вот чисто такое человеческое понятие отношения к своему ближнему, к труду. Для чего ведь и создан человек. Человек ведь создан не для какого-то блаженства и путешествий, или что-то там такое, каждый человек создан для того, чтобы что-то создавать. И вот это вот в той обстановке оно как-то очень четко и ярко выражалось, понимаете? Когда ты, находясь на какой-то грани, так или так. Были конечно такие случаи, когда кто-то хотел что-то сообразить, но это исключение.

В. – А были какие-то случаи, так называемые мастырщики, когда люди калечили себя?

О. – Мастырщики? Мастырщиков было страшно много. Особенно это конечно было до восстания. Когда как бы безысходность была, ну самая такая крайняя безысходность. Никакого просвета не виделось, света в конце туннеля не было видно абсолютно никакого. Если мы еще были организованной какой-то силой, мы друг друга поддерживали, друг друга вдохновляли, и физически поддерживали, и морально, то мы этот свет видели. А ведь большинство-то этого не видело. Большинство было чисто одиночки, которые, как я уже рассказывал, которые гибли, уходили прятались зимой в страшные морозы, замерзали, и все, что угодно, было. А также эти мастырщики, которые каким-то образом где- доставали что-то наподобие шприца, где-то, может быть, за пайку хлеба он мог у какого-то санитара этот шприц получить, и потом себе впрыскивать керосин, ну всякую такую гадость, одним словом. Которая вызывала опухоли, вызывала воспаления, и естественно, когда это проявлялось уже явно, руки и ноги опухали, тогда уже на работу его не выгоняли, и его направляли в медсанчасть. И как правило, с медсанчасти они уже не возвращались. Если кто-то еще и возвращался, может быть, отдельные, то еле волочили ноги, и в конце концов опять уходили, может быть, уже не

через санчасть, а просто напрямую в … , там, где хоронили. Потому что мастырщики – это уже было такое вот мерзкое, неприятное, даже когда вот ведь мы видели, я сам сколько раз видел таких людей, которые говорили: вот тот там в бараке опять себя уколол. И посмотришь на него, это уже какое-то мерзкое существо становилось практически. Хоть так и неудобно говорить, всё же человек, но это какая-то мерзость, до чего он сам себя не любил, и вел к смерти. Потому что он от отчаяния, и вот очень много, как мне говорили, ну вот я сам по национальности эстонец, так что я держался и знакомство у меня было среди эстонцев, которые там были, разные, и интеллигентные, и люди такого, как говорится, обычного труда, да, и вот они говорили, называли фамилии, кто этим мастырщиком становился. Это становились в основном интеллигенция. Люди, которые не привыкли к тяжелому физическому труду. Офицеры. Офицеры какого-то эстонского, скажем, Генштаба, или министры. Называли, что он при эстонском правлении был министром каким-то. Или еще какие-то видные деятели. А тут, попав в лагерь, работать он не привык, как говорится, хлеб зарабатывать трудом он не привык, какого-то сплочения, единства, среди них не было, каждый был сам по себе, потому что когда он был на воле, он был величина, каждый был величиной, поэтому оказавшись в этих условиях, он оказывался одинок, одиношенек. Его никто не поддерживал, его никто не слушал, и он видел выход один – значит, нужно как-то не ходить на работы, значит, нужно в санчасть. И он даже не отдавал себе отчета в том, к чему это в конце приводило. Вот это такая категория. Видимо, аналогично было и с другими национальностями, будем так говорить. Те же латыши, литовцы. А самые … если кто-то из русских был, то из русских – тут была несколько другая картина уже. То есть русская интеллигенция – она еще отдала концы и исчезла гораздо раньше. Русские, которые пришли, прошли фронт, это уже была совсем другая категория русских, понимаете? Они такие вещи уже не делали. Они над собой не издевались. Они готовы были оказывать сопротивление этому режиму, этой власти, но над собой они не издевались.

В. – Вы думаете, эта решимость – это потому, что они прошли фронт?

О. – Безусловно. Они уже прочувствовали чувство локтя, чувство братства, чувство единства, чувство сплоченности. И притом еще это чувство подкопилось тогда, когда мы только были арестованы, попали уже в ГУЛАГ. В ГУЛАГе надо было прежде всего проявлять, чтобы противостоять этому внутреннему разбою от уголовников. Поэтому сейчас в литературе читаешь и правильно воспринимаешь, пишут правильно, и вспоминаешь свои моменты, что когда были в ГУЛАГе просто рабочие, крестьяне, интеллигенция, военные, то их гнули, как угодно. Они не объединялись, вообще были … они были к этому приспособлены. А люди, которые прошли войну, которые смотрели смерти в глаза, которые не боялись что-то делать, это были … И власть это поняла тогда, когда начались восстания в 53-ем, 54-ом, в 55-ом году еще были восстания. Только тогда уже стало ясно, что такой контингент в ГУЛАГе держать не просто экономически невыгодно, что свободный труд более производителен, а просто таки опасно. Потому что если это, естественно, выйдут люди, организованно выйдут, целенаправленно выйдут, а не так, как в виде забастовки, или как мирное восстание душ, как потом это назвали исследователи восстания, это будет самое настоящее восстание. Значит, когда восстали души, а эти восставшие души подавили, как самое настоящее вооруженное восстание. Подавили опять, как говорится, не словом, призывами и обещаниями, а подавили пулеметами, автоматами, танками, как это было в Кенгире, и еще в других местах.

В. – А вот Вы, со своим характером, Вы как, боец, но Вы чувствовали себя героем, когда Вы вступили в эту подпольную организацию? Когда Вы оказались в эпицентре этих Норильских событий, у Вас было желание борьбы именно?

О. – Безусловно. Да. Потому что я уже как-то говорил, что, когда я был в Красноярске, и когда уже насмотрелся на всё, прошел все, и когда стало понятно, что , какая власть, как она относится к человеку, как она ценит человека, железку можно создать, там танк, пушку, пулемет, все, что угодно, а человека, если уничтожишь, уже не

создашь этого человека, это понятно. А как власть к этому относится, потому что она не ценит человека. И когда я оказался взаперти в ГУЛАГе, я поставил перед собой вопрос, что дальше делать, как быть, и чем я могу сопротивляться, как человек, против этой нечеловечности. И когда мне предложили вступить в эту подпольную организацию, для меня уже был один выход, это был ответ. Я увидел рядом с собой таких же людей, с таким же настроем, с таким же порывом других людей, и это было основа основ.

В. – То есть даже до вступления в эту партию Вы сами по себе, когда по Вашему представлению о системе, об окружающих Вас приемах, о их распоряжении судьбами, когда вот Вы это осознавали, что у Вас возникало такое движение сопротивления? И у Вас не было способа приложения этого?

О. – Совершенно правильно. А тут это проявилось.

В. – То есть это было для Вас очень радостное событие, скажем?

О. – Ну вот Вы так сказали, я тоже как раз об этом думал, и я приходил к такому сравнению, что видимо все же во мне какой-то был заложен такой не пассивный смысл жизни, а какой-то элемент активности во всём. Когда надо было не чего-то ждать, а надо было идти вперед, что-то более интересное, не более опасное, но более существенное, что меня как это внутренне удовлетворяет. Поэтому, может, и когда на фронте мы были, когда начали организовывать диверсионные отряды, чтобы забросить их в тыл, это уже тоже было идти явно на смерть, как оно и получилось, впрочем, в основном.

В. – А Вы тогда это понимали, или все-таки думали о каком-то романтизме?

О. – Какой это романтизм?! Я когда в Москве, в штабе партизанского движения Эстонии, нес службу, каждую субботу и воскресенье я был дома, а эти ребята уходили, их забрасывали в тыл, я завидовал им. И когда мне предложили нечто подобное, я не раздумывая на это пошел.

В. – Но здесь было больше юношеской романтики, чем понимания, что это такое?

О. – Ну, это было видимо так. То есть какой-то пыл, какая-то романтика, вот как вы говорите, она как-то была, я не знаю, больше других, но это было во мне как-то заложено. И поэтому в дальнейшем, когда я оказался в каком-то таком критическом состоянии, которое, ну если там меня не удовлетворяла какая-то спокойная жизнь, такая текущая, где-то там бурлит, что-то там на Курской дуге идет сражение, а мы тут занимаемся чем-то. Поэтому я рвался к чему-то интересному, хотя это было связано с вопросом, жить или умереть, но меня она влекла. Поэтому и здесь то же самое. Если так говорить уже дальше, Алена Геннадьевна, то она дает силы, на всю жизнь такой настрой.

В. – Но ведь этот настрой, это на всю жизнь? Вы с диверсионном отряде. Значит, второй раз это случилось, когда Вы были приняты в эту партию, и тоже поняли, как это приложить, вот это желание сопротивления?

О. – Да, да, да.

В - И видимо, были еще какие-то моменты, когда это желание у Вас возобновлялось, возникало заново?

О. – Ну это уже в процессе деятельности, как член этой подпольной организации. Где я, я уже говорил вам, принял клятву, клятву на крови, до конца своих дней бороться с этим режимом насилия и террора, который на моей родине сейчас есть.

В. – Значит, Вы борец. Но вот борцы бывают разных типов. Например, герои. Помните, как у Печорина Грушницкий, вот он герой, ему только шашкой махать и вперед несется. Ведь это тоже героизм, да? А вот Вы к какому типу героев относитесь?

О. – Нет, я не к такому типу, чтобы шашкой махать.

В. – А к какому типу?

О. – Я всегда люблю смотреть в корень существа вопроса.

В. – То есть Вы всегда хотите видеть перспективу? К чему приведет Ваше геройство?

О. – Да. И чтобы это было разумно сделано. А не какой-то там моментальной вспышки, какого-то удовлетворения нахлынувшего чувства, и так далее, понимаете? Это

я и в течении последующей жизни своей, хотя она и в дальнейшем тесно связана с этой организацией, я всю жизнь это чувствовал. Вот, скажем, в книжке (?) Климович такой есть, белорус, который был одним из участников, членом нашего забастовочного комитета в нашем четвертом лаготделении, в своей книге он пишет, что он бунтарь. Почему он так пишет – бунтарь? Потому что даже еще и до восстания он всегда вступал в пререкания с администрацией, писал стихи, громко это все. У меня другой метод. Бунтарь – это бунтарь, на бунтарстве далеко не уедешь. А меня заставлял Смирнов – вот иди в библиотеку и бери сочинения Владимира Ильича Ленина.

В. – Что Вы в них искали, в этих сочинениях?

О. – Искал организационные основы.

В. – А организационные основы чего – государства, подпольной организации, будущего устройства страны?

О. – Организационные основы, прежде всего, партии. Ведь Ленин как считал, что, даже когда все эти революционеры собирались, кто же на себя возьмет ведущую роль, и Ленин сказал, что «есть такая партия!» Так вот действительно, партия такая есть, и в чем она должна быть, что она может сделать, и смысл в том, что это только организация может сделать. А одиночки – одиночки случайные, одиночки как не сплоченные бунтари, и всё, они могут вызвать какой-то эффект, создать какие-то колебания, какое-то недовольство. Это всё, может быть, нужное, с тем чтобы поднимать какой-то общий фон всего этого сопротивления. Поэтому тот, кто это делает, это герои. Но они к конечному этапу привести не могут. Нужна организация, организация и только организация. Как Смирнов говорил: «Так учил великий организатор Ленин». Он, который был против этого, он заставлял читать и учить, поэтому мы там и читали, изучали, беседовали, обсуждали все эти вопросы. И поэтому вот понятие, что нужна организация, только тогда можно что-то сделать и добиться полезного, нужного, и достигнуть цели, только таким путем. И когда впервые – я за много лет вперед, ничего страшного? – когда в 92-ом году впервые … (фамилия неразборчиво) впервые собрал конференцию участников сопротивления в ГУЛАГе, я тоже там принял участие, я там передавал фотографии, фотографию Смирнова я передавал, Смирнов в то время уже умер уже давно, но на конференции была его жена, принимала участие, она и сейчас еще жива, другие ребята, там же был и Климович. До этого с Климовичем, ну, после восстания его куда-то отправили, мы с ним потерялись. И только в 90-ом году, когда я познакомился при открытии Соловецкого камня с Формозовым Николаем, Формозов мне дал адрес Климовича. У нас началась переписка, очень интересная, очень оживленная, некоторые письма у меня еще хранятся, и я конечно ждал встречи. И мне очень интересно было, что у нас по некоторым вопросам мнения расходятся, понятиям, события отдельные, что-то так не складывается так, как я это представляю. И мне конечно очень хотелось с ним встретиться. И вот мы встретились на этой конференции. Ну, естественно, обнялись, были вместе, я всё его пытал, что вот Федор Смирнов всё хотел создать организацию, и так оно у него и не получилось. Он говорит, что там какие-то ленинцы были, но это всё не то. Я говорю: «Ну как так, ну почему, он же создал организацию, ну это же было, как же так». Он говорит: «Нет, ты ошибаешься, ты не в курсе дела, мне вот тот, тот говорил». Я просто чувствовал, что он действительно ничего не знал, как же так, как же это может так быть. Он действительно такой человек, таким был бунтарем активнейшим. Он сейчас на востоке (?) … (говорят вместе) А Смирнов его тогда не принял, мне было непонятно. И когда мы в последний день уже начали разъезжаться, я ему говорю: «Ну слушай, хорошо. Это было давно, 50 лет назад. Сейчас-то время уже изменилось, ну можно открыто говорить. Ну организация-то нужна. Федор ее не создал, то можно сейчас ставить вопрос о создании такой организации, чтобы мы были все сплоченными. Чтобы не было так, что на Камчатке создается там Мемориал, ну какие-то ассоциации. А это идет – разделяй и властвуй! Значит, нужно создавать организацию, так? Которая тоже какую-то бы пользу приносила и продолжала бы сегодня наше дело». Он мне на это сказал: «Знаешь что, вот мы тут

должны сейчас собраться, купим бутылочку, поговорим, посидим». Я как на него посмотрел, и мне как-то очень обидно стало. Значит, я ему говорю серьезные вещи, а он мне говорит, что давай сядем, возьмем бутылочку и поговорим. Вот за бутылочкой и будем говорить. И у меня внутри что-то оборвалось, разочаровало страшно, и на самой конференции я не был. И переписка у нас с ним, когда уже разошлись, уже порвалась. Я потом себя винил, что я конечно поторопился, погорячился, надо работать, работать и работать, даже вот это объяснять – это тоже работа. А почему он не член партии – мне стало ясно. Ведь Федор ему не доверял. Потому что он все время общался с администрацией, то в БУРе (барак усиленного режима), то там еще что-то, его же ведь судили, он еще 10 лет получил в лагере … то есть его могли даже и пытать, и все, что угодно, делать, и такой человек мог даже и проговориться, что-то лишнее сказать, смотря в каких условиях, он в бессознательном состоянии мог что-то сказать. И поэтому таких людей, такой человек, который хорошо знал конспиративную работу, таких людей не принимали в партийные организации.

В. – Скажите, а вот Смирнова Федора как оценивали другие? Вы ведь наверно говорили со многими участниками этого восстания? Они его знали, помнили, как-то оценивали, или он был такой фигурой незаметной? Скрытной?

О. – Ну я так скажу, как участники восстания, которые мы сейчас вот тут собирались, из них практически никто. Вот меня все время удивляло. Мы ведь были 5 дней в Москве, когда камень открывали, и мне пришлось … по организации самой этой встречи. Я даже среди участников восстания, которых мы собирали в 93-ем году, не смог поговорить от души. Прежде всего не смог поговорить с тем же Грисяком (?) Между прочим, Климович и Грисяк (?) упоминают Смирнова, они в своих книгах упоминают, причем одного Смирнова, других Смирновых у них нет. Это понятно. Но мне хотелось это углубить, расширить это понятие на конкретных примерах, на конкретных фактах, и другие фамилии. Единственное, с кем я более подробно говорил, это вот когда уже я ездил в Ростов, узнал, что жив Петров Тихон Иванович, я уже дважды туда ездил, мы с ним встречались, с ним мы вместе начали готовить обращение, которое мы приняли, мы с ним прорабатывали первое обращение.

В. – Он все время там живет? В Ростове Великом или в Ростове-на-Дону?

О. – В Ростове-на-Дону. От Ростова всего километр. Новочеркасск.

В. – Это уже Украина?

О. – Нет, почему, это Россия. Ростовская область.

В. – А он тоже воевал?

О. – Да, у нас судьба абсолютно одинаковая. Он тоже был в армии, он старше, он с 19-го года, он старше меня на 6 лет, но он уже был на кадровой службе, когда началась война, был тоже в Эстонии, на острове Саарема, в каких-то химических войсках, тоже попал в плен, потом был в Германии, попал в американскую зону, вернулся, как с чистой душой, как я, один к одному.

В. – Он жив-здоров сейчас?

О. – Он жив, но он нездоров. Он прикован к дому, у него с ногами очень плохо, они опухшие, болят, поэтому приехать в Москву он не смог.

В. – А если вот у нас будет возможность, мы бы к нему поехали, например. Сможет он разговаривать, выдержит?

О. – Это конечно. Потому что еще так я бы хотел сказать, что первый раз я с ним просто разговаривал. Тогда я хотел взять с собой диктофон, где взять – я к Формозову. Формозов мне говорит, что у меня есть диктофон, я тебе дам, когда поедешь. Накануне я пришел к нему, я говорю, что я завтра еду в Ростов, давай диктофон. Он говорит: «Ой, что-то он у меня не работает, надо чинить». И тут же взял какой-то приемник (?), ну в общем, старого типа. Я говорю: «Ой, послушай, Коля, не трать время, не нужно, ладно, я так еду, без всякого диктофона». Я так поехал, просто был разговор. Когда я поехал второй раз, у меня уже был нормальный диктофон. И вот я его записывал. Эта запись

сейчас тоже находится в редакции «Времени» «Норильск о себе», там уже мои воспоминания проработаны, уже готовы к печати, и его тоже там есть.

В. – Но он тоже знает Смирнова?

О. – Конечно. Он знает Смирнова, он упоминает того, кто его принимал в партию, его принимали уже в Норильск в 5-ом лаготделении, одинаковые фамилии, кого я прекрасно знаю. Тот, кто его принимал, я тоже хорошо знал, так что у нас много общего. И вот еще он мне сногсшибательную вещь сказал, о которой я не знал ничего, от которой я чуть в обморок не упал. Что оказывается, что когда в 62-ом году были Новочеркасские события, то притянули к этим событиям Норильский след.

В. – Как это?

О. – Вот так. Был притянут Норильский след. И он же был под следствием, пять дней его держали, пытали его там, ну не пытали, но давили на него. И моя фамилия там фигурировала.

В. – Вы у нас еще по Новочеркасскому делу проходите, значит.

О. – Ну мог бы пройти. Но его спасло то, что а «какие ты получал указания из Москвы от Нетто?»

В. – А там откуда знали Вас? Почему о Вас знали?

О. – Потому что Нетто писал ему письма и разыскивал, писал его матери письма, потому что он не оставил мне своего адреса, а своей матери. Я писал, искал его, а ответа не получал. Письма эти, конечно, вскрывались, всё это знали, был контроль. Я даже установил, что был контроль и за другими, с кем я переписывался.

В. – Но Вы же ни слова не говорили в этих письмах про партию?

О. – Нет, конечно. Так вот ему и говорили, что я его разыскивал. Ты, говорят, дурака не валяй. Ты расскажи, что он пишет между слов. Вот и все. Потому что подумать они могли, что может быть, какая-то другая форма там была, ведь можно переписываться и …, можно ход конем делать, и так вообще-то и делается, когда это нужно. Да, и еще как будто у них было на него показание, что его видели в колонне, когда она двигалась.

В. – А он там был на самом деле?

О. – Нет, он там не был. Он токарем работал на заводе в Новочеркасске, на другом предприятии, и выполнял какой-то ответственный заказ, даже там двое суток не выходя из завода, выполнял какой-то заказ. И вот это его спасло. Потому что директор сделал ему алиби, Как говорится, было у него алиби. А он был член горкома партии, директор. И сказал, что Петров выполнял такие-то и такие ответственные поручения, так что он там не мог быть. И все это вот так ушло, растаяло. Если бы не директор, если бы Петрова к этому делу притянули, вот был суд, где семь человек было расстреляно по суду, то может быть, притянули бы еще двух - Петрова и Нетто. Вот когда я это узнал, вы представляете, конечно, какое у меня состояние было. То есть все эти годы, не знаю, до которого времени, был соответствующий надзор, наблюдение, все это было. И вот когда я записал, еще и Макарова, ну Макарова вы знаете, да, потом это все перерабатывалось, распечатывалось, то появился целый ряд вопросов. Многое он не сказал. А не сказал по разным причинам. Был такой момент, когда я его начинал спрашивать, он что-то говорит, говорит, а потом вдруг: «Лев, подожди, стой, стой, ты больше не спрашивай, я не могу, у меня в голове перед глазами все темно становится, я что-то не помню ничего». Я испугался. Знаю, что когда я первый раз рассказывал свои воспоминания Кравченко, и когда я попал в больницу, я прекратил всё и говорю: «Боже мой, давай прекратим всё, успокойся». И только на следующий день я продолжил некоторый разговор с ним. Я понял, что это тяжело для себя возвращаться и переживать заново все это. Поэтому я даже предлагал Макарову, я говорю, Алла Борисовна, хорошо бы расшифровать то, что он говорил, и вот вы поезжайте, может быть, мы вместе поедем, вы с ним поговорите, уже зная, что спросить, как спросить, какой момент напомнить. Может, он еще что-то вспомнит. Потому что со мной своих воспоминаний он не писал. Сейчас, когда я от него письма получаю, это пишет его дочь, потому что ему писать трудно, у него все опухшее.

Так что то, что вы сказали, это вполне вероятно, потому что пока человек жив, ему сейчас уже 86 будет, по-моему. Поэтому если это возможно, вы поезжайте.

В. – Хорошо, мы тоже подумаем об этом. Лев Александрович, а вот когда комиссия уехала, вы стали работать снова с таким воодушевлением, думали, что впереди всё только будет лучше. Дальше что произошло?

О. – Что дальше – дальше произошло неожиданное. Да, кроме того, в наших требованиях еще было такое требование, чтобы не проявлять никаких акций против наших членов забастовочного комитета. Чтобы их не преследовали. Нам была дана гарантия, что никто не будет преследоваться, не будет никаких претензий. Но прошла неделя или несколько дней, и опять было тревожное сообщение, опять через пятое лаготделение. В пятом лаготделении организация продолжала, видимо, наблюдать обстановку. Было это в двадцатых числах июня, пошел этап небольшой, человек 150, как переброска в другое лаготделение, переброска через наше четвертое отделение. И кто-то то ли с дома, то ли с горстроя, ну это видно было, что их отвели куда-то за полкилометра, остановили, и из них вывели еще маленький какой-то этап, человек около 20-ти или 15-ти. Подъехала машина, их посадили на машину и куда-то увезли. Сразу была поднята тревога, всё, а комиссия пока находилась еще в Норильске, что комиссия нарушила своё торжественное обещание, и куда-то увезли. Поэтому всё, всё возвращается в первоначальное положение. Всё, прекращаем работать. И опять была тревога, опять гудки, опять флаги. И так получилось, что опять я и … были вместе, но тут уже вопрос был поставлен сразу, что сразу возвращаемся в зону, чтобы вместе быть сплоченными. Естественно, что это уже по соответствующей связи, или как что это произошло, всё это распространилось, все уже знали, что нарушены эти требования, значит, все обещания, которые были, они пошли насмарку. Значит, ничего такого не будет серьезного, что мы ожидали, на что мы надеялись. Здесь нужно отметить такой момент, я всегда говорю об этом, что уйти из зоны оказалось не так просто и не так легко. Администрация, конечно, не противилась этому, но среди наших ребят целая группа проявилась, которая категорически заявила, что нет, в зону мы не пойдем. Нужно идти на проволоку. Раз так комиссия поступает, значит ждать нам нечего, нас ждет в лучшем случае карцер или тюрьмы, значит, это снова идти по тюрьмам – лучше мы умрем. Лучше смерть, чем опять эти мучения.

В. – То есть обострили ситуацию?

О. – Да, значит нужно идти, вот у нас есть тракторы, двинем прямо на вышки, и они еще аргументировали чем – что все нас поддержат. Ибо тот факт, что они так говорили еще до восстания, что нужно так делать, но тогда у них не было аргументов, а тут у них был сильнейший аргумент, что двадцать с лишним тысяч объявили забастовку. Значит, если мы их призовем и поведем на проволоку, те пойдут, потому что они все понимают, что впереди нас ждут только тюрьмы, тюрьмы и тюрьмы, и лагеря, … откуда люди не возвращаются, и тому подобное, значит, у них был очень сильный аргумент в руках. И поэтому они категорически отказались возвращаться в зону. Это была такая группа, которая была в зоне, которая была на горстрое, их человек тридцать там набралось. И конечно, тут Смирнов уже принял максимальное давление, чтобы что-то сделать. Ну естественно, что пообщавшись с украинцами, в общем, со всем контингентом, по своей там цепочке, это ему одному было ведомо, он мне потом сказал, что всё, общее мнение единое – всё, идем в лагерь. И об этом пишет и Климович, что Смирнов вел переговоры вот с этой группой, убеждал их, доказывал, что это безумство, что это смерть, что вы не только себя подвергаете смерти, но всех остальных, что это будет только причина для того, чтобы во всех лагерях были бы массовые расстрелы, массовое уничтожение людей, что мы уничтожим себя. Что это недопустимо. У нас есть пример, что мы можем выйти на свободу, и всё, и что этого не нужно делать. Нет, ни в какую, понимаете, никакие уговоры не помогали. Нет, вы как хотите, а мы сами тогда пойдем. Вот у нас есть трактор, или два, такое дело, двинемся и пойдем, и всё. Было очень опасно,

что такое может быть. И тогда тоже Смирнов принял решение, что в эту группу надо вклинить своих ребят, которые заставят их, не допустят этой провокации, это ведь получается провокация. Поэтому надо вклинить своих ребят к ним. И меня он тоже спросил: «У тебя есть кто-то из твоей цепочки, кто может выполнить такое задание, очень ответственное и решительное? Потому что тут нужно тоже очень решительно действовать, безоговорочно». Я ему дал двух человек, Суворова, с кем мы вместе в мастерской работали, и еще одного, Шевелькова Николая. В этот момент я ему этих двух придал, по-моему, еще человек десять туда было добавлено, такая группа, она как-то усилилась как бы внешне. Но эти люди знали, их задача была – любой ценой, даже брать в руку финку, если нужно, остановить это безумие. Значит, мы все ушли в зону. Основная масса ушла, к ним, конечно, никто не присоединился. И часа через два или три и они вернулись, как побитые, головы опущены, пришли тихо, смиренно, и всё, было ясно, что не пришлось до крайности доводить, принимать меры. Потому что даже тех ребят, которых я им дал, и еще там были Жеренков и Касьянов, заправилы, отличные, смелые ребята, хорошие ребята, доверенные, но они были крайне агрессивно настроенные. И когда даже эту крайнюю позиции – идти на проволоку – обсуждали у нас в мастерской, а в мастерской у нас это можно было обсуждать, потому что там были все свои ребята, поэтому тех ребят, которых я дал, они хорошо знали друг друга, и они понимали, тот же Жеренков и тот же Касьянов, что ребята, которые пришли – это не просто так ребята пришли. А они пришли серьезно, и они тоже готовы пойти на все, что только возможно. И они в этом убедились, но как-то возможно и струсили, или какой-то голос им внутренний подсказал, что не надо, переубедил их, и эта провокация не состоялась. А когда мы пришли в зону, конечно, другая смена не пошла уже на работу, и забастовка приняла второй этап. И опять началось с пятого лаготделения, оно как-то было у нас всегда в авангарде всяких таких начинаний. В самом конце июня месяца в этом же самом пятом лаготделении … Да, а тут поступило известие, что готовится силовая акция, уже на подавление забастовки. В чем она будет выражаться – никто не знал. Было понятно, что опять по цепочке офицерской это поступило. Где, когда, как – это уже не могли знать. И вот эта силовая акция состоялась опять в пятом лаготделении. Она заключалась в том, это уже потом мне рассказывали, я не очевидец, но рассказывали уже потом, когда я был в другом лагере, когда в один прекрасный день прорезали проволоку, открыли вахту, и в зону вошли пожарные машины, заправленные водой, и офицерская группа, человек около ста, вооруженная палками и железными прутьями. И их цель была – разъединить лагерь на бараки, и по баракам выгонять за зону в тундру. И эта силовая акция, конечно, окончилась позором, смехом, потому что когда они пытались первые же бараки отрезать, заблокировать, ничего не получилось. Люди выскочили, начали там и камнями бросаться, и все что угодно, а те офицеры, которые оказались в бараках и хотели людей выгонять из бараков, в конце концов им надевали на головы кастрюли, и они падали на колени и просили: не убивайте, потому что у меня жена, дети, и меня заставили. Ни один офицер не был тронут чем-то, не избит, даже царапины не было. Им говорили: беги, беги, беги. И они практически все бежали из зоны. И когда они бежали, а пожарные машины уже тоже задом выкатывались из зоны, то говорят, что несколько офицеров получили ушибы или что-то такое. Вот такой позор. А ребята все выскочили, свистели, кричали там, и все что угодно было. Вот это была акция, которая тоже была в пятом лаготделении, и которая закончилась таким позором. Но мы быстро всё это узнали, хотя каждое лаготделение было на каком-то расстоянии друг от друга, мы это узнали, что такая акция была. Мы конечно были уверены, что акция была, ведь она продемонстрировала, что она результата не дает. Поэтому ждем, что будет дальше. И опять же в пятом лаготделении случилось первое массовое кровопролитие. Уже первого июля. Тоже уже вошли не офицеры с палками и прутьями, и без пожарных машин, а вошли автоматчики, и был предъявлен ультиматум: вот вам 20 минут, и вы все выходите из зоны. Не выходите из зоны – открываем огонь, применяем оружие. Люди, конечно, высыпали из барака, и вот какой-то

был момент такого противостояния. В ворота зоны вошли вооруженные солдаты уже с боевым оружием, а около бараков стояли заключенные, друг на друга смотрели – что же будет. Во-первых, заключенные не пытались выходить из зоны, потому что была уверенность и у руководителя забастовочного комитета, и у всех, что неужели могут дойти до такого, чтобы стрелять в людей, расстреливать. После того, как что-то заявлялось, говорилось, такие обещания давались, и вдруг эта же комиссия – а комиссия в это время была еще там – вдруг может на такое пойти. Никто не верил. И вот в этот момент, как уже потом очевидцы из пятого отделения передавали, раздался чей-то голос: «Чего вы, мальчики, медлите?» И после этого возгласа раздались автоматные очереди. И начался самый настоящий террор, разгул террора. Тут уже и убитые, и раненые, и как еще люди говорят, в горячке эти заключенные еще пытались что-то камнями бросать, кирпичами бросать в солдат. Но было уже ясно, что оружие применяется, и было большое поражение. И поэтому, конечно, уже было ясно, что смысла в сопротивлении нет. Когда уже стреляют. Стреляли по баракам, такой беспорядочный огонь был открыт. И когда начали выгонять из бараков, все конечно уже выходили, не сопротивлялись, выходили в зону. Их там – в тундру, потом сортировали, и смотрели. Сколько там погибло – по официальным данным, как говорили потом, после расстрела, когда хоронили убитых в общей могиле, что-то такое 150 с лишним человек было похоронено. Сколько было ранено – абсолютно неизвестно. А всех остальных начали сортировать – кого куда как. Ну уже знали, кто там активный, потому что все это видели, наблюдали, все это делалось. А в женской зоне, которая была по соседству с пятой зоной, там, когда началась стрельба, поднялся страшный крик, вой, вопли. Женщины кричали: стреляйте в нас! Но в женщин не стреляли, а на них пустили пожарные машины. Их обливали водой под большим давлением, тех, кто были, и конечно их всех постепенно разъединили, разбили и тоже выгнали в тундру. И в тундре тоже их рассортировали. Всех, кто был в первых рядах противостоявших, они были все мокрые, и конечно, избитые палками, раненых таких было достаточно, тех считали, что это зачинщики, их – отдельно, а тот, кто был сухой, значит был в бараке - тех тоже отдельно. Значит, там такой принцип был, более гуманный, чем было в пятом отделении. В этот момент, а мы были километрах в двух от них, наша зона была, четвертая, мы это прекрасно слышали, что в пятой зоне стрельба, страшные крики, вопли, мы поняли, что что-то там произошло. Буквально к вечеру мы уже знали, поступило сообщение, что в пятом лаготделении очень много убитых. Что был ультиматум, после этого, когда люди не вышли, был массовый расстрел, массовая гибель людей. Даже был такой момент, о котором мне говорил Федор Смирнов, что с одной вышки в зону был брошен камень с запиской, и когда утренняя охрана, которая вела наблюдение по всему периметру за тем, что происходит в зоне, камень подняла, и там была записка. В этой записке было сказано, что вчера в пятом лаготделении много убитых. Всё, очень коротко было сказано. Федор говорил, что эта записка – не провокация, потому что мы сами слышали, а как послание друга, вот так было сказано Федором. Уже все было ясно, и центры подпольные собрались, и комитет.

В. – Но вы готовились как-то, что это может быть и у вас?

О. – Уже было ясно, и забастовочный комитет собрался, и было принято решение: как только к нам придут, предъявят ультиматум, все моментально бегом выходим из зоны. Потому что уже во что-то верить и на что-то надеяться другое – уже бесполезно. И это все сразу было передано по цепочке, по соответствующим цепочкам, а забастовочный комитет тут же провел митинг около клуба на улице, на котором разъяснял ситуацию, в которой оказались, потому что даже некоторые люди не хотели выходить в зону, кончать забастовку. Им приходилось объяснять, что такая вот ситуация, уже все, уже стреляют, убивают. Поэтому вот такое активное воздействие на общую массу, которая не хотела кончать забастовку просто так, возымело свое действие. И когда на следующий день, кажется, второго числа, потому что со временем тут можно немножко сбиться, предъявили ультиматум такой же, тут же все со своими котомками бросились к вахте и

вышли из зоны в тундру. То есть подчинились требованию администрации, их указаниям. То есть через ту же вахту, через которую ходили на работу. И даже бегом вышли из зоны. Ну, естественно, я тут на себе увидел, предчувствовал, что было дальше. Как на пятом сортировали все, я не видел, могу только со слов сказать, что было, как у нас, а у нас я на себе все это увидел своими глазами. Вывели в тундру и сортировали, и охрана, и сажали, и все сидят. Близко там, одну сотню от другой, просто считанные метры одна от другой, и у каждого своя охрана. И все естественно сидят мирно. И каждую сотню подводят к вахте, там стоят уже столы, стояли офицеры, стояли там, откуда-то взялись, те, которые бежали из лагеря, стояли там нарядчики, бригадиры некоторые, эконом, и вообще, всякие там осведомители, которые знали людей в лицо и могли указывать, кто являлся активным участником этой забастовки. Тем, конечно, доставалось от этих молотобойцев несладко, били по всякому, кому как попадалось, и их отделяли отдельно. Тех, кто не был замечен в таких вещах, тех гнали в лагерь. И так постепенно все эти четыре с половиной тысячи просматривались.

В. – То есть отделили активных?

О. – Да. И моя сотня тоже подошла. Когда подходили к столу, конечно, знакомые там были в лицо, ну меня может кто-то и знал, ну в лагере, там все это было, и мне показали – иди прямо, то есть к лагерю. Я пошел в лагерь. Пришел в лагерь в свой барак, уже и до этого там были люди, некоторых из своих ребят там увидел, даже членов партии там увидел несколько человек, и лег и лежу, притаился. Все конечно замерли там, никаких разговоров. Через какое-то время, абсолютно немного прошло, может, минут 15-20, может, и того не прошло, приходит нарядчик один, Гриша, который меня отлично знал. Он знал, что я брат Игоря, поэтому он тоже ярый болельщик футбола. Говорит: «Нетто здесь?» Я говорю: «Здесь!» - «На выход с вещами!» Ну я котомку какую-то взял, выхожу, он меня спрашивает: «Слушай, а почему сказали, что тебя надо за зону вывести? Ты что, кому-то насолил?» Я говорю, что понятия не имею, почему меня так, за зону. Вроде я ничего не чувствую за собой, никакого греха. Он говорит: «Ну ладно. Только слушай, что я тебе скажу. Сейчас подойдешь к вахте, как только пройдешь линию этих ворот, тут же бегом к первой – а там все сидят по сотням – беги к первой сотне. Как можно бегом. Если тебя там прихватят, то тебя изобьют и тебе достанется здорово. Всё, иди». Пока мы шли, он мне это всё сказал. Как только я прошел через линию ворот, я бегом пустился к ближайшей сотне. Там люди сидели, и стояли по четыре охранника у каждой сотни. Вооруженных, естественно. Пока я бежал, уже не помню, какое там было расстояние, вижу – меня хотят догнать, перехватить. Но не успели. Я перешел за какую-то черту, которая была невидима никому, но охранники знали, кого они охраняют. И когда те хотели перебежать эту черту, и войти в зону охраны этих автоматчиков, им сказали: стоп, назад! Я оказался под охраной автоматчиков.

В. – А бежали за Вами вот эти всякие нарядчики?

О. – Да-да-да.

В. – То есть не администрация?

О. – Нет, это свои же люди, заключенные. Нет, из администрации никто не бежал. Администрация рукоприкладством не занималась. Ни офицеры, никто, Я не помню, чтобы в данном случае наглядно при всех людях, чтобы какой-то офицер рукоприкладством занимался, такого я не видел и не слышал об этом. А тут свои же, вот эти вот прислужники администрации. Я в общем туда вскочил, присел, и все, я оказался под их охраной. Видел, как все эти сотни прошли, как их сортировали, как им доставалось, как били, и все такое. А потом тех, кто были отобраны, как активные, направили в другой специальный лагерь …

В. – А Вы с этой сотней опять проходили через проверку?

О. – Нет, уже все. Нас потом объединили уже человек по 400, по 500, такие колонны были, которых погнали уже в другой лагерь, перегнали. А тех, которые активные, их тоже отделили, а все участники забастовочного комитета – они оказались все

в тюрьме, их всех в тюрьму. Мне рассказывал Грицак, и тот же Климович, что к ним бросили Неверовского (?), которого они еле узнали. Его лицо всё было черное, в подтеках кровяных, он был практически без сознания, его бросили просто туда в камеру, и все думали, что он не выживет. Но как выяснилось, всё-таки судьба его так хранила, что он всё же выжил. Может быть, у него внутри всё было отбито-перебито, но он остался жив, и потом еще его в числе других отправили на материк, ну, естественно, в тюрьму. Вот как это было мне сообщение от Селезнева, что он еще получил снова 25 лет. Но уже не как участник восстания, не за восстание он получил 25 лет, а практически получил за то же обвинение, которое у него было и раньше. То есть в принципе восстание как таковое даже не упоминалось. Выписывалось всё, что угодно, но только не активное сопротивление в виде восстания.

В. – А у Смирнова какая судьба?

О. – Смирнов – он, конечно, попал в число тех, которые не попали в зону, а его отдельно отделили, но его отделили по другой причине. У Смирнова в личном деле, видимо, в лагерном, было записано, что он более опасный преступник. Поэтому его и раньше, когда мы были вместе, начиная с 49-го года, когда мы приехали, его на каждый государственный праздник, на Седьмое ноября и Первое Мая, изолировали, помещали в изолятор, или в карцер. Буквально на неделю, на 10 дней. Прошли десять дней – паек он получал тот же самый, но просто был изолирован. Такой был порядок, чтобы как особо опасных, чтобы они вдруг не придумали какой-то эксцесс в великий праздник. А потом опять в зону, на свое рабочее место, там где он спал, находился, и все продолжалось опять как раньше. И поэтому, видимо, вот эти формуляры особо опасных тоже были на вахте. И когда он называл свою фамилию, ее проверяли по этому формуляру – а! ты особо опасный! – значит, тебе туда. Но к нему не было претензий, как к организатору восстания, он не засветился. Он ни с кем переговоры не вел, если что-то и делалось там, собирались центры – русские, украинские, литовские вместе, то это все было сделано достаточно конспиративно. Это я хорошо знаю, потому что я сам принимал участие в наблюдении за тем, как это все происходит. Я был его охранником практически. Я не присутствовал на самих совещаниях, но я его сопровождал.

В. – Как Вы считаете, это ленинский принцип был в организации такой?

О. – Безусловно. Вот этот опыт, как конспиративную работу проводить, как организовывать, как это делать, методы, всё. Понимаете, вот кто-то прочитал, но не совсем до него дошло, он не воспринял, а когда это открыто обсуждали те или иные ленинские работы, то собирались человек 5-6, открыто всё говорили, обсуждали, тут уже никто ничего не боялся, обсуждали ленинские работы, и были наверняка стукачи, которые об этом сообщали, говорили. Но начальство на это смотрело так, ну может быть смеялись, говорили - пускай, ну пусть изучают Ленина, ну перевоспитываются люди. Поэтому был вот такой своеобразный тактический подход, достаточно, я считаю, эффективный и правильный.

В. – А вот до войны, в мирное время, Вы читали Ленина?

О. – Нет.

В. – И Ленин что значил для Вас? Еще до войны, конечно.

О. – Ну как-то не приходилось, ведь я еще в школе учился, в 41-ом году я закончил только еще 8-ой класс. И поэтому этим не интересовался.

В. – Ну все-таки символ революции.

О. – Да, да, да. Поэтому сейчас, когда меня спрашивают, как война, как что, я говорю, что войну я встретил с радостью. Я вам этого не говорил?

В. – С радостью – почему?

О. – А потому, что я воспитывался в духе, что…

В. – Что мировая революция придет?

О. – Нет, не революция.

В. – А мировой пролетариат победит?

О. – Нет, тоже нет. В то время я еще этого понятия не знал. Отец мне никогда ничего этого не говорил, не воспитывал меня в таком духе. Это уже потом я сам воспитался в таком духе. Узнал, что конечная цель Ленина была – построение всемирной коммунистической республики. А тогда было другое. Я и мальчишки моего возраста воспитывались на кинофильме «Если завтра война». Это значит, что если на нас кто-то нападет, а противник был такой безликий, потому что у нас был договор, и у нас нашим союзником был Гитлер. Поэтому это все было так безлико. И показывалось, как тот противник, который на нас смеет напасть, как наши доблестные армады танковые, наши самолеты полетят, и будут там всё громить, уничтожать, как наша армия пойдет и победоносно всё это сломает. Поэтому мы, мальчишки, были рады – наконец-то мы это увидим, это осуществится, это будет не просто-таки кинофильм, а это будет наяву. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, потому что в то время «Александр Невский» - это тоже была наша картина. Мы воевали, боролись, дрались с мечами, как это делал Александр Невский. Все это было настолько азартно, было патриотично, просто трудно передать это. И поэтому мы встретили это известие с радостью. Но потом конечно всё получилось как-то не так, как мы думали. Потом начали прозревать.

В. – Значит, Ленин вам помог в создании вот такой партийной организации?

О. – Да, безусловно.

В. – Ну а потом, вот Вы говорите, что Вас воспитали в таком духе, а потом уж Вы узнали идеи Ленина о всемирной революции, о создании единого коммунистического государства, и Вы считали, что это так, что к этому надо стремиться?

О. – Нет, это я почитал, узнал, и уже все это было обсуждено с людьми уже постарше меня, которые были на той же войне, которые побывали еще и до войны заграницей, которые видели уже, что это такое - Советский Союз, которые в меня вкладывали понятие, что Советский Союз – это надуманное понятие. Как такового Советского Союза не было. Почему – потому что, во-первых, в Союз загоняли штыками, силой, и держали в Союзе тоже на штыках. Это подтвердилось в 91-ом году, или даже раньше, в 90-ом году.

В. – Значит, уже тогда у Вас эта идея – распространить коммунизм на весь мир – уже не было?

О. – Уже всё. Кроме того, а что значит – идея? Во-первых, не было союза. Во-вторых – это Союз Советских, а советской власти у нас не было, потому что власть была в руках одной партии, партии большевиков-коммунистов. И никакой советской власти не было.

В. – Это обсуждалось Вашими товарищами?

О. – Безусловно. Безусловно, всё это обсуждалось, доказывалось. И потом, когда мы уже были в Москве, вернулись, я увидел все эти кинокартины – «Вечный зов» и другие, где показано, что советская власть, то есть райкомы, райисполкомы – это не власть, это всё игрушка в руках партии. Они подсказывали, когда надо сеять, пахать, что пахать, когда убирать, как и что, они командовали, а не советская власть. То есть советской власти не было! И я еще таких примеров потом много встретил, когда мне говорили, что у нас советская власть. Советской власти у нас не было как таковой. Советская власть – это власть, рожденная в России, демократическая власть в действительности, в корне своем, и если переводить на русский язык, демократия – это власть народа. А власти народа у нас не было.

В. – То есть была замечательная идея власти Советов?

О. – Ленин это очень умело подменил, то он говорил, что Советы распустить, то вся власть Советам. И этим самым он мог привлечь к себе ту бедноту, которая верила в какое-то светлое будущее.

В. – То есть за эти годы в Норильске Вы так основательно изучили Ленина?

О. – Ну, было время. Тем более что я на таких вот общих работах мало работал, и даже время уже, вот будучи в зоне, я мог использовать на такие вот дела.

В. – Значит, получается, что советская власть недаром боялась фронтовиков, прошедших Европу?

О. – Безусловно. То есть все это скрывалось, все это официально не оповещалось. До сих пор неизвестно, сколько таких людей было, куда они все делись, как, ну тут можно было разные градации выделить.

В. – А вы говорили о войне, как шла война, почему мы так отступали, почему несли такие потери, почему военнопленных не поддерживали?

О. – Безусловно, всё это говорилось, потому что среди нас были, среди этих офицеров были и офицеры, которые были активными участниками русского освободительного движения, то есть власовцы.

В. – То есть они … Как вы к ним относились, вы их считали предателями?

О. – Нет, они боролись против большевизма и коммунизма.

В. – Вы сразу это поняли или вам пришлось убеждаться в этом?

О. – Нет, особо как-то не пришлось убеждаться, потому что уже все, большевизма и коммунизма отношение к своему народу уже к этому времени было абсолютно понятно, ясно, и кто устроил геноцид российского народа и прежде всего русского народа, больше всего наверно в процентном отношении потерял русский народ, русского мужика было больше всего уничтожено, это было абсолютно ясно и понятно, поэтому те, кто активно противостоял большевизму, те были люди, ну я не говорю, что герои, но близки по духу.

В. – А вот кто-то из власовцев был в вашей партии?

О. – Были, да. Потому что ведь все идеи сопротивления были по сей день нигде не напечатаны, нигде не оповещены. Потому что если кто-то позволял себе допустить такой момент, сразу человек исчезал. Это было под строжайшим запретом. Потому что другие преступления – убийства, или что другое, истязания – это всё пустяк, а вот идеологический противник, за которым все годы советской власти шел народ, потому что с первого дня переворота 17-го года народ начал сопротивляться. Сопротивляться и сопротивляться. И сколько уничтожено по сей день! Вот мы в своем обращении, когда мы собирались, мы это пишем, говорим, мы это можем все знать, мы находимся уже не в коммунистической власти, а у нас демократическая республика, и мы свободная страна, и мы можем это знать, и мы должны это знать. Но, как видите, еще не знаем.

В. – А вот первые вот эти мысли, они когда к Вам пришли, в Эстонии, когда Вы там по болотам скитались и понимали, что нет партизанского движения в Эстонии? Или в Эстонии еще этого не было?

О. - Нет (говорят вместе) Нет, понимаешь, какая получается вещь. Вот говорят, что 91-ый год, произошел мирный переход из одной системы в другую, демократы вдруг появились. Откуда они появились, эти демократы? То они были партноменклатурой, а потом вдруг стали демократами! Они просто знамя себе другое повесили. Чтобы стать действительно демократом, прочувствовать это, надо все-таки пройти определенный путь осознания. Демократия – это власть именно народная, это же нельзя, нужно же прочувствовать первопричину, основу всего этого, только тогда. Поэтому, как вы говорите, когда я еще был на фронте, и когда я был заброшен в тыл, я был заброшен в тыл как диверсант практически.

В. – На помощь освободительному движению Эстонии были заброшены?

О. – Да, совершенно правильно.

В. – И при этом Вы наблюдали нежелание эстонцев освобождаться?

О. – Нет, ну это тоже понятно, я и раньше это знал, понимал все это, потому что даже среди нас, которые были там, были и такие, которые, как только оккупировали Эстонию, были действительно такие, которые были сторонниками Советского Союза. Многие, которые были против, убежали в леса. Вот эти ребята – они были не проводниками, они ловили их. Их называли «истребительные батальоны», которые истребляли тех, кто был против советской власти. И вот сейчас снова они пошли сюда, и у нас были в их числе эстонцы, которые местные были. Которых забросили. Их только

поменяли местами. Они теперь стали уже против власти, которая была в Эстонии, новая власть эстонская, и у них там были отряды, которые – их называли «самозащиты» - которые уже были против них. То есть уже был как бы обмен функциями. И когда кто-то попадал в плен к новым эстонцам, то им опять очень крепко доставалось. Их избивали до полусмерти, потому что они мстили. То, что делали те, вероятно, то теперь делали другие.

В. - Вы не думали тогда в Эстонии, что может быть, Вам надо бороться за независимость Эстонии, что это насильное вовлечение Эстонии в Советский Союз?

О. – Нет, нет. Считал, что это сделано, и все, и нас ведь как называли – сталинские бандиты. Когда я уже попал в плен.

В. – А вот когда Вы все это поняли?

О. – Я вам так скажу, что это когда из Эстонии перебросили в лагерь, большой лагерь военнопленных в Латвии, местный, то когда мы шли по городу, то там жители кричали «сталинские бандиты!» и бросались и камнями, и палками. И я хорошо помню, что я не чувствовал какой-то злости, ненависти к ним, а я думал: ох, как хорошо, что меня называют сталинским бандитом. Мне это даже какую-то гордость придавало.

В. – Есть что-то в этом героическое, да?

О. – Да, да. Что я правильно поступал, правильно я шел, правильно я сюда прилетел, приехал, и правильно я воевал, все делал, и что я иду правильным путем. И вот в этом же лагере я увидел потом большие насыпи многосотметровые, где оказывается, я потом только узнал, были останки тех бойцов Красной Армии, которые погибли от голода в лагере, когда уже оказались необеспеченными. Которые мерли, как мухи, потому что для немцев они оказались ненужным подарком, а свой главнокомандующий заявил, что это не военнопленные, а это предатели, изменники Родине. Вот это первые такие образные картины, которые показали, кто есть кто. Дальше, дальше, я перевоспитывался, я из преданного … превращался в такого сознательного противника этой системы, которая выше человека ставила какие-то вещи – оружие, металл, всё, что угодно, а над человеком тоже можно было творить всё, что угодно.

В. – Но ведь парнишкой Вы тоже были несознательным, или уже сознательным?

О. – Нет, все это было сознательным, потому что вот кинофильмы, и всё такое дело, я ведь с отцом, понимаете, пример отца для меня тоже уже вкладывался определенный какой-то элемент сомнения в историческую справедливость того, что было. Потому что об отце много рассказывала моя мама. Отец раньше никогда не рассказывал, куда он ездил, как что делал в первые годы революции. Это всё она рассказывала. Кроме того, в нашем доме, в нашей квартире было много латышей. Латышские стрелки. Вы знаете, что это такое. Какое это страшное название, оказывается – латышский стрелок. Я даже не думал, что это так. Для меня, когда я прочитал недавно в газете статью о латышских стрелках, я не мог несколько дней прийти в себя. В нашей квартире были латышские стрелки, в доме, комендант Кремля в нашем доме жил, у него была отдельная квартира, у остальных комнаты были в общих квартирах. Но они все в 37-ом году исчезли. Все они были разогнаны, все они исчезли. На каждый праздник отец брал меня с собой, я уже был постарше, я рассказывал уже. И вот эти люди все исчезли, все погибли. И вот это понятие тоже уже вкрапливалось, какое-то сомнение тоже уже вкладывалось.

В. – Но это когда, еще до войны?

О. – Нет, уже тогда, такие еще непоследовательные, неосознанные, несвязанные мысли, ну как же так можно.

В. – То есть это еще до войны?

О. – Да, это тогда еще, еще в те годы, до войны. Даже когда я еще учился в школе на улице Мархлевского, и мы бегали тогда, мальчишки и девчонки, бегали в перерыв вокруг Лубянки, вокруг этого здания, и пытались посмотреть там в окна полуподвальные, где там эти люди, потому что все говорили, что там расстреливают. Дома об этом тайком говорили. И мы друг с другом тоже менялись. Вот так чисто человечески такой ребячий азарт. Все это уже начинало, как-то вкладывало, какую-то основу создавало. Как же так –

ведь это люди, такие герои, создали революцию, и все такое, и вдруг теперь они исчезают, их расстреливают, как это может быть. Так получилось, что мой отец остался жив, каким путем, трудно сказать. Когда я вернулся, я тоже уже по литературе узнал, что оказывается, когда ночью забирали людей, то бывали ошибки, брали не того, кого нужно. Что они были под определенным настроением, под газом, входили не в ту квартиру и брали первого попавшегося. А потом доказать, что ты не верблюд, это уже было бессмысленно. Ставили галочку, что такой человек взят, и все. Поэтому, может быть, был и такой вариант. Почему-то мне так казалось, что так оно и было.

В. – А вот когда Вы были в Норильске и принимали участие в восстании, были готовы и к каким-то кровавым событиям, Вы думали о том, как это оценят Ваши родители – отец и мать?

О. – Ну, я знаю, что отец мой никогда конечно и не верил, что его сын – изменник Родины. Я считаю, что он хорошо знал меня, знал мое нутро, и он, конечно, абсолютно был прав. Что я Родине никогда не изменял и ни в чем открыто не выступал. Особенно, как говорится, с оружием в руках.

В. – То есть во всяком случае до того момента, как … То есть Вы были абсолютно чисты в этом плане?

О. – Ну, я чист и по сей день. Я еще чист потому, что я это понял, понял в корне все, что те следователи, которые меня пытали, которые мне ломали пальцы, те, которые расстреливали моих друзей в лагере – они тоже жертвы системы. Жертвы системы и те палачи, которые расстреливали на Лубянке и где угодно, они тоже жертвы системы. В лагерях расстреливали. Потому что если они не расстреливали, то их самих расстреливали. И мы в свое время такие сведения в печати, и по телевизору было, сколько у нас было уничтожено за эти годы, еще до войны, тех же чекистов, тех же партийных. Это было ясно. Это была человеконенавистническая система, которая впервые появилась в истории человечества. Чтобы какие-то полководцы, руководители, императоры, цари и так далее могли так бесчеловечно уничтожать свой народ и своих приближенных, своих верных соратников. История такого больше не знает. И поэтому по сей день, я четко в этом убедился, что все эти люди – жертвы этой системы. И все они несут какую-то, одни, может быть, невинные жертвы, а другие – жертвы, которые своей кармой несут определенную кару за то, что они оказались в этой системе и служили этой системе. Потому что я все же уверен в том, я уже много книг читал, что такое карма, как она воздействует, как долго она воздействует, через сколько поколений она воздействует. И может быть, тот, кто расстреливал на Лубянке, его самого не расстреляли, он остался жив, но эту карму несут его потомки, которые и болеют, и Бог знает чего. То есть это страшное дело для России. Поэтому российский народ и вымирает сейчас. Столько появилось болезней, совсем незнакомых, неясных, непонятных. Я так это понимаю, что всё – следствие этой жесточайшей советской системы, которая прижилась на российской земле, которая бродила в 19-ом веке по Европе – призрак бродит по Европе, призрак коммунизма – так говорилось. Европа этот призрак не приняла, и решила забросить на добродушную русскую землю. И были простые люди, которые доверчивые очень были, и это приняли, как дар Божий. Есть понятие – российская трагедия 20-го века. Она началась в первую мировую войну. И потом пошло и дальше.

В. – А Вы с отцом обсуждали справедливость Вашего ареста, несправедливость, о том, как Вас пытали, когда Вас допрашивали, о Вашей жизни в лагере рассказывали ему?

О. – Отец никогда не верил, он правильно делал. И мать, конечно, не верила. Но никогда они подробностей не расспрашивали. Как было в лагере, как что. Как и потом.

В. – Они не спрашивали: «почему ты подписал все обвинения?»

О. – В подробности не вникалось, ничего. Потому что я видел, что это бесполезно. Он же был в какой степени больной уже, и когда мы с ним гуляли по Москве, скажем, гуляли с ним в районе трех вокзалов, Домниковка. Домниковка – это наш родной район.

Конец файла Нетто-2

_____

Файл Нетто-3

В. – И Вы встретили там Смирнова?

О. – Да, и других товарищей встретил. Нас привезли в промежуточный лагерь. Там мы зазимовали, с 53-го на 54-ый год, там мы даже выходили на работу, строили даже там какое-то многоэтажное здание кирпичное. И даже меня сделали бригадиром в этом лагере, я сопротивлялся, но Смирнов сказал: так надо. Раз надо – значит надо. Значит, я заполнял наряды, разные бригадирские обязанности выполнял, на работу мы ходили такой колонной, ну может бригада была человек 60-70, охрана была ну просто для видимости, впереди идет охранник с винтовкой, сзади идет охранник с винтовкой, остальные все идут, вплоть до того, что песни какие-то пели. Приходили в зону, никакого режима такого не было. В зоне, естественно, была своя республика, это понятно. Но это был уже последний такой лагерь, где мы со Смирновым оказались вместе. То есть как после Свердловска мы с ним встретились, после этого как-то мы все время вместе, и вместе, и вместе. Как это назвать – не знаю, но так было. И только здесь уже, из этого лагеря «Купец», там как-то мне еще Смирнов сказал, что, ну там была своя республика, там, видимо, были еще и подосланы туда стукачи. И как-то мне Федор сказал, что двух человек, говорит, убрали, возмездие было, не просто стукачей, а стукачей-провокаторов. Он так сказал. Фамилий он не назвал. Раз решил центр – значит, все ясно, тем более не просто стукачей, а стукачей-провокаторов, значит, чем-то они себя проявили. Ну и конечно, тут я еще не сказал, что я Смирнову принес сюда подарок этот. Я пронес программу нашей партии, которая была написана на тонкой бумаге, и которая была свернута такой гармошкой. Ну конечно, краткая программа, как она называлась. Я ее пронес в руке. Перед входом в зону нас всех раздевали буквально догола, проверяли все одежды, все вещи, но она у меня была зажата в кулак в правую руку. А руки вверх все держали. И те, кто обыскивал, а обыскивали солдаты уже так, знаете, для проформы. Но это был тот ритуал, который был предписан – обыскать. Конечно, они не обратили внимания, что у меня рука зажата. Все, проверил – пошел дальше. Когда я вошел в зону, когда я встретился со Смирновым, я с ним поздоровался, и эту программу ему передал. Он когда посмотрел и увидел, он, конечно, ахнул.

В. – Это когда Вам в бараке сказали: выходить с вещами, Вы ее уже тогда забрали?

О. – Да, она уже была при мне. То есть все эти проходы, она уже была при мне, потому что я каким-то чувством, может быть, даже я себе не отдавал отчета, что это может мне стоить жизни, по-моему, я не отдавал себе отчета, я просто знал, что это нужно было, тем более, что я был как бы носителем этой программы. Несколько раз Смирнов ведь мне давал задание, скажем, переписать один-два экземпляра, я переписывал, отдавал ему, а в принципе я был держателем и хранителем этой программы. Поэтому эта функция, которую на меня возложил Смирнов, я не мог с ней расстаться, она как бы стала органической, я чувствовал ответственность за это. И поэтому, не боясь ничего, даже не думая о какой-то опасности, я её все время держал при себе. Смирнов просил - по-моему, я и там ее еще переписывал, в «Купце». Кому он ее отдавал, как, что – это меня не касалось никогда. Но у меня свой экземпляр был, оригинал, так сказать, который мне ещё Соловьев передал в 52-ом году, еще до восстания. И поэтому, когда я уже ушел на этап, еще зима была, с … расстался, мы просто обменялись адресами, он свои адреса мне дал, мы уже, когда надо было идти на этап, обменивались адресами. У меня была записная книжка, которая вам известна, туда кое-какие адреса записывались. Я ушел на этап на рудник «Западный». Когда я туда пришел, там тоже оказалось, что там тоже существует, функционирует демократическая республика.

В. – А как Вы это узнали?

О. – Прежде всего я там увидел Петрова Николая Тихоновича (?), который был начальником колонны, который возглавлял эту республику там.

В. – Республика или партия?

О. – Нет, это все-таки была республика, потому что там были и украинцы западные, которые не входили в партию. Потом в партию входило очень небольшое число людей, а вот порядки внутри – уход на работу, приход с работы, обслуживание, то есть все социальные вопросы, которые были, - в них не участвовала обслуга администрации.

В. – То есть это было самоуправление?

О. – Да. Ведь был назначен, как мне потом уже Петров говорил, ему руководством, начальником лагеря, офицером, по-моему, полковником, было по какой-то цепочке сказано: вот Петров Николай Иванович (?), вот его можно сделать начальником колонны. И он был объявлен начальником колонны. И определенные люди это знали, и выполняли его указания так, как это положено выполнять им, и жизнь строилась на самых таких демократических основаниях. Особенно это было заметно на работе клуба, где были различные кружки, спектакли ставили. Украинцы там как раз в то время отмечали годовщину Шевченко, у них были свои там моменты. Кстати, я не знаю ни одного примера, чтобы в партии был какой-то украинец из Западной Украины. Восточные украинцы были. И вот когда я оказался на руднике «Западный», то там наша партийная цепочка начала значительно увеличиваться. Я сам там человек пять принял в партию, которые дали соответствующую клятву, как я когда-то давал. Принимал в партию и Петров.

В. – То есть Вы были уполномочены на это дело?

О. – Да. И принимал в партию Сериков.

В. – А любой мог принимать в партию, или какие-то определенные люди?

О. – Нет, принцип был такой – цепочка. По этой цепочке каждый из членов партии мог тоже принимать в партию. Какого-то списка, или ведения какого-то учета не было, это абсолютно отсутствовало. Это невозможно было делать письменно, понятно из каких соображений, а также устно, потому что я не помню, чтобы у нас там на каком-то собрании ставился вопрос: а сколько нас тут есть? Мы друг друга в принципе знали в лицо, собирались в бараке по 50, по 60 человек вместе. Там были уже приняты в партию и немцы, и российские немцы, и немцы из Германии. Не говоря уже о том, что вся Прибалтика там была. Все были вместе, все друг друга знали. Ну, а уже конкретно – я не могу сказать, что он был членом партии. Но раз он был вместе, значит, он был членом партии. А тех, кого я принимал, это я уже точно знал. Такая система складывалась. И поэтому я еще до сих пор пытаюсь найти немецких ребят, они были молодые ребята, моложе меня, еще кого-то можно найти. И вот я сейчас буду встречаться с немецкими журналистами, я опять буду их просить, чтобы они помогли и в Германии, и здесь найти. Может, часть из них уехала в Германию, я потом узнал, а часть осталась в стране. Может, еще можно найти своих друзей. Но это я отвлекаюсь. И поэтому там у нас была такая …И самое главное, что у нас там было сделано, было принято решение, что программа партии есть, нужно сформулировать на бумаге устав партии, который практически передавался устно, и программу действий – как осуществлять введение в жизнь решений и программы партии, будучи на воле. Не в лагере, а на воле. Это мне было дано такое поручение. Я был держателем этой программы. Значит, это было помещение бани, была комната, где я сидел и писал устав и программу действий. Из того, потому что это было еще совсем свежо в памяти, буквально месяцы прошли, когда у меня все эти воспоминания были, разговоры, рекомендации, как это должно быть. Я это писал, и согласовывал с другими, с тем же Петровым. И эти документы были написаны. И когда уже принимали вас в партию, то эти люди знакомились, уже зачитывали устав, знакомились с ним, потом давали согласие, и тогда уже давали клятву.

В. – Эти документы сохранились?

О. – Ну, эти документы, вот так мы жили, работали, и уже пошел 54-й год, это лето было 54-го года, я работал в обслуге лагеря, а лагерь находился между зоной рабочей, просто был окружен проволокой, ворота – и все, люди уходили на работу через ворота и приходили. И если нужно было ехать на какие-то склады, получать продукты, или что другое, то я тоже приходил в эту зону и общался. И летом 54-го года уже появились первые признаки того, что начинают освобождать из лагеря. Из нашего лагеря тоже уже освободились первые ребята, освободился тот, кто был у нас заведующий баней, Абраменко Николай, потом на его место стал эстонец Утсал (?), который сейчас еще жив, в Эстонии, и было понятно, что все мы в ближайшее время пойдем по линии освобождения. Потому что мы уже узнали, что тот, кто остался на «Купце», тех уже вывезли на материк, что-то около 1500 человек, и больше вроде никто на материк не намечался, не было таких этапов. Поэтому было понятно, что вроде уже какая-то сортировка произошла определенная, и теперь начинают даже уже из нашего лагеря люди освобождаться. Поэтому это может коснуться любого и каждого. Поэтому было принято решение, по согласованию с тем же Петровым и Сериковым, что нужно документы спрятать. Потому что, если выйдешь на свободу и носить их с собой, иметь при себе – это уже крайне опасно. Поэтому нужно их спрятать, с тем, чтобы когда нужно будет – их можно было бы найти, восстановить. Потом нужно сказать, что такой комплект, то есть эту программу партии, я еще спрятал, когда работал на Горстрое (?), уже во второй заход, когда второй этап восстания был, просто под зданием, в бутылку заделали, залили сургучом, смолой залили, и внизу под зданием запрятали. И соответственно, было помечено, где и как. В землю там, скажем. Было это потом все ликвидировано, потому что там уже постройка пошла, не повезло. И вот мы с Бережанским, это тоже украинец восточный из … , я его принимал, была цепочка. Поэтому когда было указание спрятать, по цепочке передали, и мы с ним ушли в зону. А он работал на руднике, он работал на мотовозе, который возил вагоны с рудой, и мы с ним нашли удобное место, как мы посчитали, в кирпичном здании небольшом, это тепловая подстанция, а не электрическая, и там в стене нашли нишу, куда положили и заделали кирпичом. Вот так сделали. И через какое-то время мы с ним ушли на этап, на другой, в зону. А Петров остался, Сериков остался, они уже своим путем потом пошли. Ну и опять получился такой разрыв. Нас там было тысячи две, наверно, на «Западном», и человек 200 или около 300 – нас переправили на «Средний» , это на Байковском шоссе, среднем между Норильском и Байком , где наша задача была – обслуживание дороги, которая была очень важная, необходима была связь с Байком Там были какие-то производственные подразделения. И мы строили снегозащитные щиты, а зимой нужно было расчищать дорогу и делать ее. И я тогда сам напросился, чтобы пойти в бригаду, которая работает в тундре на расчистке дороги. Было просто интересно посмотреть, что же это за тундра, а это было еще лето, уже 55-го года лето было, как, что из себя представляет норильская тундра. Ну, там тоже впечатления остались потрясающие от норильской тундры, от этого многоцветия и от озер, когда, если оступишься, когда купались, что внизу – лёд. Так что это тоже страшно было, что внизу лёд, что может у тебя ноги свести и ты там останешься. А с другой стороны, это было разнообразие той прекрасной норильской природы, которое осталось в памяти. Если на четвертой зоне я любовался северным сиянием, а на «Западном» я любовался, даже не любовался, а просто прочувствовал эту черную пургу, когда я как-то раз пошел за питанием в барак, а нужно было идти по канату, чтобы не заблудиться, и всё же я не смог удержать крышку, и крышку сорвало. Но еду я все же не выбросил, все же принес. Это уже какое-то другое чувство, это уже в другом месте не могло быть, это только в Норильске. И там я работал, но пришло такое время, что там начальником колонны был уже украинец, Мельник такой был, с которым мы хорошо знали друг друга, и который мне посоветовал, что ты переходи опять в обслугу лагеря, потому что вроде бы обещали обслугу лагеря сделать бесконвойной. Я говорю: «Ну что ж, я с удовольствием, готов». И я перешел в обслугу лагеря. Жили мы уже не в зоне, а жили за зоной, тоже балки около

зоны, ну, естественно, выполнял все положенные функции, там на склады, привозить, все что нужно, снабжение осуществлять. И уже ходил в город. Там уже освободились некоторые, тот, другой, третий, тот же Абраменко освободился, к нему я домой ходил, он уже семью завел там. Тот же Утсал уже был там, который из этого лагеря уже освободился и в балке жил около Байковского шоссе, и другие ребята. Вот только не было Петрова, Петров до конца, его отправляли на материк. Сериков еще там, еще там я с Сериковым встречался. Поэтому у меня на память остались фотографии. И Бережанский, с которым мы прятали, тоже там был. Все эти фотографии у меня остались, и даже есть фотография с Мельником, где я на одной фотографии среди западных украинцев, а есть другая фотография, где я среди белорусов. Это уже те лагерные фотографии последнего времени, когда я был в лагере, потому что до этого мне как-то не приходилось фотографироваться, не было такой возможности. Ну конечно, там уже о какой-то такой работе разговора не было, документы мы спрятали уже на руднике, уже никакого там приема в партию тоже не было, мы уже ждали, когда придет … Мы с Бережанским , у нас был такой разговор, что мы сами не будем просить милости, не будем писать прошения, жалобу по пересмотру дела. Пересмотрят дела – так пересмотрят, нет – не будем, принципиально. Мне пришел сигнал, что где-то к осени 55-го года может прийти в лагерь, в основном это такой лагпункт просто был, что пришли документы на мое освобождение. Ну я был расконвоированный, я сам и пошел туда, можно было. А тот же Бережанский остался, а он был в лагере, он был такой там главный по сантехническим таким работам, в этом плане орудовал. Ну, я пришел когда в лагерь, там начальником был, кстати, тот же лейтенант Мазур, который меня принимал когда-то сюда, я ничего, конечно, не помнил, просто по документам я увидел, что это тот же человек, подпись его стояла. Зачитали мне документ, что я освобожден и могу возвращаться в Москву. Дали мне билет. Да нет, по-моему, даже билета у меня не было, точно я не помню, потому что я летел обратно из Дудинки в Красноярск на грузовом самолете. Там достаточно прохладно было, если не сказать, что холодно, но я летел. Мы втроем летели. А уже на дорогу от Красноярска до Москвы мне было выдано, как записано в документе, 20 рублей 22 копейки. Столько стоил билет от Красноярска до Москвы. И я, естественно, потихонечку, на каком-то самом простом поезде, не скором, короче, я добирался от Норильска до Москвы шесть дней. Совсем быстро! И так я оказался уже не в ГУЛАГе, а оказался по другую сторону проволоки.

В. – А Вы домой об этом писали? Вас ждали, или не знали, что Вы приезжаете?

О. – Я уже писал. Потому что когда я был в Норильске, я был уже расконвоированный, я уже мог и писать уже все, я уже все сообщил, но мне как-то еще все не хотелось писать, потому что я уже один раз уже напряг как бы семью. После этого опять долгие годы они мне посылки посылали, писали письма, потому что от них я мог получать письма, а вот самому писать нельзя было. Мы, конечно, ухитрялись, мы передавали через вольных опять, вольные же были наши союзники, вольнонаемные, притом те вольнонаемные, которые и в лагере никогда не были. Молодые ребята, которые там работали, работяги, это были наши союзники самые настоящие.

В. – То есть какие-то письма они получали от Вас?

О. – Письма получали, да. А вот то, что я еду, знали, а вот о том, что я уже еду, я сообщения не дал, это было для них конечно неожиданностью. Вроде они уже чувствовали, обстановка уже к этому клонилась, они знали, а конкретно они не могли ждать меня. И вот когда я уезжал с последнего лагеря, опять, конечно, появились соответствующие записи в блокноте, вот там Бережанского адрес есть, … этого немца там есть запись, есть там еще других ребят. Но тут произошла у меня катастрофа. Я записывал, а записывал порой не совсем подробно. Давали ребята адреса, вот я хорошо помню одного на «Купце», который в моей бригаде работал, который мне тоже говорил, что он четко знает и помнит, говорили в отношении партии, которая есть на воле. И он мне дал свой адрес, ну не свой, а Дао адрес сестры или еще какой-то девушки где-то в

Приморском крае. И еще много у меня таких есть адресов, где стоит тройной инициал и адрес, а где-то вообще нет. Я из соображений конспирации все это шифровал, думал, что буду помнить. А потом, когда это уже необходимо стало, первые месяцы, конечно, когда я вернулся, я в эту книжку не заглядывал. Но потом постепенно связался и со Смирновым, и с Бережанским.

В. – А Смирнов где был?

О. – Смирнов в то время уже был в Новосибирске.

В. – И Вы переписывались?

О. – Мы и переписывались, и он приезжал в Москву. С женой, которая тоже была на первой конференции в 97-ом году. Моя жена знакома с Федором, она тоже приезжала, и переписывались, и все. Но Бережанский не приезжал, другие мои ребята приезжали в Москву, Апухтин , Суворов приезжал из Рыбинска, много раз приезжал, сейчас он уже умер. Мы с его сыном переписку ведем.

В. – А Вы не спрашивали, вот эта организация, которая была в лагере , где она? Были ли какие-то действия, ведь он у вас был лидер?

О. – Тут вопрос такой, что мы, конечно, пытались, предпринимали те или иные действия.

В. – И Вы, и он?

О. – Да, чтобы как-то выяснить это. Но ни он, ни я, ни кто-то другой не выходили конкретно на какую-то связь с организацией, которая якобы должна быть в стране. Но это конечно не настраивало на какую-то активную деятельность. Потому что тот же Федор всегда предупреждал, он относился к этому очень бережно, особенно бережно к людям своим, потому что нельзя вот так, нужно по принципу действовать – семь раз отмерь, один раз отрежь. Этот принцип был основной, для того, чтобы сохранять людей. Ну, и этот его принцип, конечно, я считаю, был самый главный во всей конспиративной работе. И если кто-то из нас на какую-нибудь связь вышел бы, то тогда я должен был бы, или мне должны были бы это передать, связать, и подключить к какой-то конкретной деятельности. Раз этого нет, то и разговоров пустых просто так не надо вести, время тратить.

В. – Вам этой деятельности не хватало, хотелось действовать?

О. – Ну как я выполнял программу действий – ну много приходилось каких-то моментов…

В. – То есть Вы не получали никаких связей и сами по себе эту программу действий пытались выполнять?

О. – Да, конечно, ее у меня не было, но она у меня была в голове.

В. - А Вы пытались ее восстановить?

О. – Нет, это не пытался.

В. – Почему?

О. – Потому что не было необходимости. Потому что так я рассуждал и так я действовал по указанию того же Смирнова, что если бы где-то проявилась какая-то связь, необходимость подключиться, во-первых, нужно было бы доказать, что он является не просто членом такой партии, а нужно было бы организовать поездку в тот же Норильск, найти и взять эти документы и эти документы подтвердить.

В. – А вот сейчас, в последние годы, не возникала мысль эти документы найти и восстановить, хотя бы как исторический документ? Что же там в уставе, в программе, в программе деятельности? Не возникало такого желания?

О. – Чтобы восстановить – мне это многие говорили. Но я как-то не пытался. Ну чего восстановить … надо найти эти документы.

В. – Найти надо. Ведь это было бы очень интересно, не так ли?

О. – Вот, мы уже перескакиваем через много лет, одни люди умерли, другие умерли, где-то были живы, где-то были связи, до последнего момента переписка была, встречались. Через Суворова. Но это была живая цепочка. Это был такой отчаянный

парень, которого я оставил тогда, чтобы он … что он просто меня брал за горло – когда же мы это найдем, когда же мы будем действовать? Такое было, понимаете? Если с кем мы спрятали, тот же Миша Бережанский, мы с ним переписывались, и все, там как-то спокойно все это было, а вот этот приезжал и прямо брал за горло. «Что же такое, как это получается, неужели я не могу найти ничего?» Я ему говорил: «Нужно терпение, и терпение, и терпение. В нашем деле нужно терпение».

В. – А Вы сами для себя эту программу как-то пытались выполнять? Что именно Вам удавалось сделать из этой программы? Или хотелось сделать, или собирались, или пытались?

О. – Вот, скажем, одно из таких …, чтобы говорить о том, как я выполнял свою программу, я себе уже четкий зарок дал, что я могу тогда это все сказать, если будет найдена эта программа. Что это будут не мои слова, что это не моя выдумка, потому что выдумать все, что угодно, можно, и сказать все, что угодно, можно, а вот если документы найдутся, а у меня надежда пока еще не погасла, вот тогда можно говорить об этом, тогда можно сказать. Единственное, как я уже говорил, еще когда я еще огласил это в 99-ом году по телевидению, когда была такая передача «Как это было», где было сказано о норильском восстании, а я огласил первый раз о существовании такой партии, я говорил, что в программе партии было сказано, что смена власти в отечестве должна произойти только мирным путем. А как это сделать? Это быть вооруженным словом. Поэтому нужно внедряться во все структуры власти, включая партию, включая КГБ, включая правительство, включая партийные органы, комсомольские, и так далее. Чем больше в этих органах, особенно в партии, будет таких, как мы, тем быстрее она развалится. Это я уже огласил, говорил, и я считаю, что это было очень целенаправленно. Ведь сколько нас таких было, как я, таких пылинок, наверно, один Всевышний знает, но я в этом убедился тогда в 91-ом году. Когда эта партия развалилась и ее пытались сохранить, как эти ГКЧП, ни в одном городе, ни в Москве, нигде, никто открыто не вышел на защиту этой партии, хотя в ней состояло 18 миллионов человек. Значит, в ней было столько людей, которые эту партию понимали совсем по-другому и относились не так. Тот, кто в ней был не то, что предан, или органически вжился, тот в 91-ом году прятался где-то, кто-то убегал за границу, кто-то прятался в стог сена, как тот же Анпилов, и так далее. А открыто в защиту никто не вышел. То есть это понятие, что бороться, что устранить эту человеконенавистническую систему, которая владеет громадным потенциалом вооружения, силой уничтожить нельзя, только более сильным оружием, которым является слово. Вот именно словом эта система и рухнула. Я так считаю.

В. – А Вам трудно было, когда Вы были членом партии? Всякие там собрания, решения, ну что-то такое. Вам же приходилось быть в ней. Это было для Вас трудно?

О. – Нет, мне было интересно. Мне было приятно встречаться часто с такими людьми, тоже с членами партии, военными, достаточно высокими чинами, которые в принципе думают, как и я. Мы находимся на собрании партийном, а до этого мы пришли, сидим за столиком, разговариваем. Говорим об одном – о текущей жизни, о каких-то негативных сторонах. На собрании какой-то решается вопрос, голосуется. Совсем противоположная точка зрения высказывается, и мы все дружно поднимаем руку.

В. – А это не противоречило Вашим взглядам? Ведь получается. Что Вы не разлагали изнутри партию, а все равно поддерживали?

О. – Я выполнял программу действий.

В. – Но если Вы голосуете за решение, принятое партией, оно как-то не отдаляет Вас от конечной цели?

О. – Нет.

В. А разве не надо было голосовать против?

О. – Нет. Ведь это видели и люди, которые старше меня были, полковники, все в орденах, и даже люди, которые прошли государственную разведку, очень глубоко и широко, и за границей. Вот они на меня у фотографиях есть, а вы видели, чтобы у них

ордена были. А мы с ними, оказывается, одинаково все понимаем, оцениваем ту ситуацию, в которой оказалась страна, все те мероприятия, которые делаются.

В. – А Вы где в партию вступили?

О. – Я в партию вступил в МВТУ имени Баумана в 64-ом году.

В. – То есть когда студентом были?

О. – Да, был студентом.

В. – А Вы закончили какой факультет?

О. – Факультет приборостроения.

В. – И работали потом по специальности?

О. О. – И работал, ну два года я еще работал на кафедре у себя, кафедре «Детали приборов и машин», а потом перешел на более живую работу, я хотел работать с людьми, и я перешел в Министерство (то ли тяжелой, то ли средней) промышленности в главный общественный центр, где мы создавали автоматизированные системы управления промышленной отраслью. Это была моя задача, я объездил всю страну с востока на запад и с севера на юг. Я был руководителем этих работ. Ну, там тоже много интересного было, тоже встречи интересные были, тоже можно много описывать. Я встречался и с иностранцами, и с англичанами, и со шведами, с кем только не встречался. И был близок с министром, не раз встречались, замминистра были непосредственные мои начальники, когда мы эту работу внедряли. Так что было интересно.

В. – А вот то, что Вы военнопленный и бывший враг народа, это как-то влияло?

О. – При вступлении в партию? Да? Ну во-первых, мне рекомендацию дал один член партии, который еще знал, старший брат одного моего друга, вместе учились, в одном классе, но который погиб. Он был еще жив, он знал моего отца, и мы даже с ним вместе хоронили отца в 56-ом году. Позднее он мне дал одну рекомендацию. А другую рекомендацию тоже мне дал мой сокурсник, который и сейчас живет в Москве, с которым у нас постоянная связь, который активно помогал мне в организации встречи 2003-го года., который посылал электронную почту, связывал меня с Новосибирском, с Красноярском. До сих пор мы с ним дружны и верны друг другу. А третью рекомендацию мне дал комсомол, потому что я был активным …

В. – Но Вам пришлось заново вступать в комсомол?

О. - Да, конечно. В комсомол я еще вступил, когда, а, ну да, документы были утрачены, но как-то так получилось, что я даже третий раз вступал в комсомол. Вернее, даже не вступал в комсомол, а как бы я был старшим товарищем комсомола. Я работал в профсоюзе, такая у меня была общественная деятельность, а с комсомольской организацией мы находились в одном помещении, и мы все мероприятия, все вопросы решали все совместно, поэтому у меня дома даже хранится какая-то грамота, как старшему комсомольцу, так вот. Потому что в комсомол я вступил второй раз перед арестом, в армии, потому что оттуда документы не вернулись. Ну вот эти три рекомендации я подал руководству факультета. А я был старостой группы, старостой потока к тому же был. Были там у нас интересные такие стычки, но не с администрацией. Один раз пришлось с представителем Аджубея жестко столкнуться, сына которого исключили из института, а я как комсорг был инициатором этого исключения, потому что он был двоечник, не хотел учиться. И даже потом приходил папа в деканат. А декан говорит6 «Я ничего не могу сделать, потому что комсомол и общественность его исключали, а не я». И он захотел встретиться с нами. Мы в кабинете у декана встретились, профессор познакомил нас, и он начал нас запугивать, потому что видел, что мы непреклонны. «Вы знаете, где я работаю? Я работая непосредственно с Аджубеем, вы это понимаете, кто такой Аджубей? Поэтому если вы будете упираться, то завтра вас из института вышвырнут, как котят негодных!» Но ничего не получилось у него, он ходил даже к зав.учебной частью института, Анухин (?) был такой, проректор, туда ходил, хотел воздействовать, тоже ничего не помогло. А Анухин только нас с комсоргом пригласил к себе через декана, естественно Декан сказал, что Анухин вас хочет видеть, видимо, хотел

посмотреть, что это за ребята такие смелые. Мы с ним встретились, поговорили, чувствовалось, что хорошее настроение у него было. Он нам пожелал успешной учебы, и все кончилось, конечно, никакого там Аджубея, никаких претензий к нам, ничего не было. А наоборот, даже вот такой маленький штришок, а потом ион, и я были в хороших отношениях с деканатом. Даже если нужно было обратиться по общественной работе к декану- профессору … (фамилия неразборчиво), то дорога была открыта. И когда принимали в партию, мне запомнился сам процесс приема в партию. В одной из аудиторий, там, где читались лекции, было собрание по приему, еще кто-то принимался, потом я принимался. Я, конечно, рассказал им всё, где я был, как что, достаточно подробно, естественно, ни о какой партии. Все было ясно. И вопросов – знаете, что – практически никто не задавал. Все, конечно, понимали, кто вступает в партию, рассмотрели заявление, рекомендации, и только выступил один преподаватель – Торогов, с той кафедры, где я потом остался работать. Он только выступил и сказал, что вот не делаем ли мы ошибку, что мы принимаем такого человека в нашу партию. Вот буквально так было сказано. Ну тут я просто оторопел. Как на него все набросились! Не свистели, конечно, но какой-то шум поднялся, такая лавина выражения недовольства. «Ты что, ты вообще человек, не человек, как ты можешь, человек реабилитирован! Все законно! Мы все хорошо знаем, а ты начинаешь копать, вроде под всех под нас копаешь!» Вот такой дух. Я был потрясен, потому что я не ожидал, что такое будет. И смотрю, он как-то пригнулся, притих, и когда было голосование, я как-то упустил из виду, и не видел, он голосовал «за» или нет. «Против» он не голосовал, потому что «против» не было ни одного голоса. Может, он вообще не голосовал. Во сяком случае, было всё принято. Вот этот момент приема в партию остался на всю жизнь в памяти, потому что – вот оно, истинное лицо настоящих людей, которые в людях ценят людей, а не какие-то законы, которые неизвестно как приняты – для человека они или нет. Я, может, недостаточно четко это выражаю, но, должно быть, понятно. И поэтому, когда я был в партии, когда мы разговаривали с членами партии, и когда я таких людей встречал, у меня было, как это, масло масленое. Кроме того, я ведь был активным, я был председателем профбюро факультета студенческого. Когда я уже был принят в партию, на следующий год я уже был в партийном бюро факультета. Я был в первый год заместителем секретаря по оргработе. На следующих выборах я опять был избран в партбюро факультета, и уже был зам.секретаря по идеологии.

В. – Вот тут бы и разваливать всё!

О. – Зачем разваливать – не нужно! Призывать к развалу нельзя!

В. – А вот в связи с Вашей деятельностью, с Вашей работой в партии, я обратила внимание, что у Вас в записной книжке и у Игоря в записной книжке есть одно высказывание, написанное в разные годы: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет!» Вот скажите мне, пожалуйста – это что? Это Ваш взгляд на работу? Это Ваш взгляд на жизнь, на то, что надо делать свое дело правильно, и тогда всё будет обустраиваться кругом правильно, это вот работа в парторганизации …

О. – Я вас прекрасно понимаю.

В. – И каким образом Игорь пришел к этому выражению, и Вы когда пришли к этому выражению, и нет ли связи здесь, может быть, Игорь что-то узнал о вашей партии? Или это просто семейная традиция?

О. – Во-первых, мы последние три года с ним были вместе неотлучно, день и ночь. Я, конечно, не дискутировал с ним, не зондировал его записные книжки, ни к чему мне это было. Я это обнаружил это потом, когда он умер. Когда нужно было определить какие-то надписи на его надгробии, вот тогда я это все внимательно просматривал, и сам удивлялся, какие у него там оказались записи. И эта, и целый ряд других записей. И тогда я понял, что у меня и у Игоря был один и тот же учитель в жизни – Старостин Андрей Петрович. От него я это слышал в лагере, он много рассказывал

В. – Вот именно это высказывание, да?

О. – И это высказывание, и наставления, и об отсутствии советской власти, и социализма. Потому что он еще до войны побывал заграницей, и Испания, и Париж, и Англия, он уже имел четкое представление. Потому что здесь так считалось, что, если ты был заграницей, то ты обязательно завербован. А на самом деле, конечно, завербован никто не был, так же, как и я не был завербован. Но душа уже была не та. Уже глаза были открыты, как говорит Чаадаев, чтобы любить свою родину, нужно открытыми глазами, «нельзя любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой и с закрытыми устами». Поэтому это всё уже раскрылось, это уже было. И поэтому считали, это уже был 50-й, 51-ый год, когда мы были с Андреем Петровичем вместе, в одной зоне, и где мы встречались. Всё это было, конечно, аккуратно, всё это было опять конспиративно. Мы и открыто встречались, когда собирались ленинцы, когда говорили о годах революции, о футболе, когда смотрели журналы «Огоньки» красочные, и тут же Андрей, и еще три брата путешествовали тогда по Европе. А Игорь уже тогда, когда были все вместе, когда уже вернулся в Москву, опять начал футболом заниматься, как-то они сблизились, не через меня, во всяком случае. На свадьбе у Игоря, которая была в 60-ом году, они были вместе. Но это уже они были близко знакомы еще до этого, потому что уже это было в январе 60-го года, когда Игорь женился. И кстати, тогда мы с Андреем впервые встретились после лагеря. А в 60-ом году летом Игорь стал, как капитан сборной, обладателем кубка Европы, первым кубком. А начальником команды был Андрей Петрович Старостин. Уже они вместе ездили, вместе уже общались там. Но Игорь, конечно, никогда об этом, ну мы знали, что вместе, всё это понятно, но чтобы какие-то разговоры и как, что, - этого не было абсолютно. Так же, как и в книге у того же Старостина, которую он подарил Игорю, о футболе, он пишет, что «Игорю Александровичу Нетто с белой завистью за его футбольные и человеческие достоинства». И в книге ни слова не упоминается о Норильске. Такие были времена.

В. – Получается, что это выражение стало эпиграфом Вашей жизни?

О. – В какой-то степени да.

В. – И Ваши правила работы в партии тоже, наверно, можно подвести под это высказывание?

О. – Наверно, так. Я не знаю, я вам говорил или нет, то, что я еще в 50-ом году видел того же Смирнова, прогуливающегося вместе с Андреем Петровичем, мне говорит о том, что они были близки.

В. – Получается, что эти два человека оказали огромное влияние на Вашу жизнь?

О. – Безусловно. Это мои учителя. Были еще и другие.

В. – Но эти – основные?

О. – Эти – да. Особенно, конечно, в том, что нет советской власти, что социализм – это что-то такое, что за границей можно увидеть социализм, а у нас – нет. Это демократ, я его считаю и своим учителем, и так я уже говорил, это великий демократ для меня.

В. – Лев Александрович, а вот не было у Вас все эти годы, может и сейчас, какой-то ностальгии по Норильску? Вот когда Вы приезжаете туда, Вы туда приезжаете с каким сердцем?

О. – Ну, я два раза там был в 2003-ем году. В прошлом году у нас сорвалась поездка по каким-то объективным обстоятельствам. Я должен был поехать, я говорил, что продолжу поиск, но не получилось. Просто не было денег на это. Деньги появились уже где-то в сентябре, а в сентябре я уже готов был поехать, начал собираться, но пришло известие, что неожиданно выпал сильный снег, в горах все засыпало, и в горах делать нечего уже. Поэтому решили, ну, что еще год может быть выживем, переживем.

В. – Но для Вас Норильск – это что?

О. – Норильск для меня – это вторая родина. Вот для меня есть моя родина – это Москва, и вторая моя родина – Норильск.

В. – Вам хочется всегда туда приехать?

О. – Да.

В. – Вы едете туда с большим желанием?

О. – Да, еду с большим желанием. Во-первых, все эти воспоминания мне очень дороги. И не то, что воспоминания, а мой университет. Норильск – это мой университет. В Москве я сначала закончил 8 классов до войны, потом у меня был университет в Норильске со всеми прилегающими, как говорится, территориями, основное, конечно, Норильск, ну а после в Москве уже закончил, высшее образование получил. Все это тесно связано.

В. – А до 97-го года Вы не были в Норильске?

О. – Нет, не был. Я очень хотел, но просто у меня не было возможности чисто финансовой. Это дорогой билет, и это не только билет, ведь туда надо приехать, как-то надо и устроиться, с кем-то, все это довольно сложно.

В. – Скажите, Лев Александрович, вот Вы очень хотели приехать в Норильск, почему, что вот здесь главное? То, что Вы столько труда вложили в это, или потому, что Вы там пережили столько, или потому, что Вы были очень молоды тогда? Что больше тянет – вложенный труд, пережитое?

О. – Почему дорог мне Норильск? Можно так сказать, что в Норильске я родился заново. Я стал другим человеком. Я стал другими глазами, открытыми глазами смотреть на мир. Я гордо поднял голову. Я ни перед кем не преклонялся. Ни перед Берией, ни перед кем. И мои уста открылись, но – в меру необходимости. Потому что меня опять же мои учителя учили: семь раз отмерь, один раз отрежь.

В. – То есть это действительно было место перековки Вашей?

О. – Да. И так, как рассчитывал мой отец. Когда-то он говорил, когда приводил меня учиться в спец.парт.школу, что мы, коммунисты, должны готовить себе смену. И он меня готовил к смене к своей, и был уверен, что это так.

В. – И повода сомневаться не было?

О. – Повода сомневаться не было. Вот в этом я грешен, что я не оказался наследником его, его заблуждений и его слепоты, а я стал зрячим человеком. То есть таким, каким человек должен быть. Я не делал себе идола. Это одна из главных заповедей, которой, я считаю, должен придерживаться каждый человек.

Конец файла Нетто-3 и конец записи.